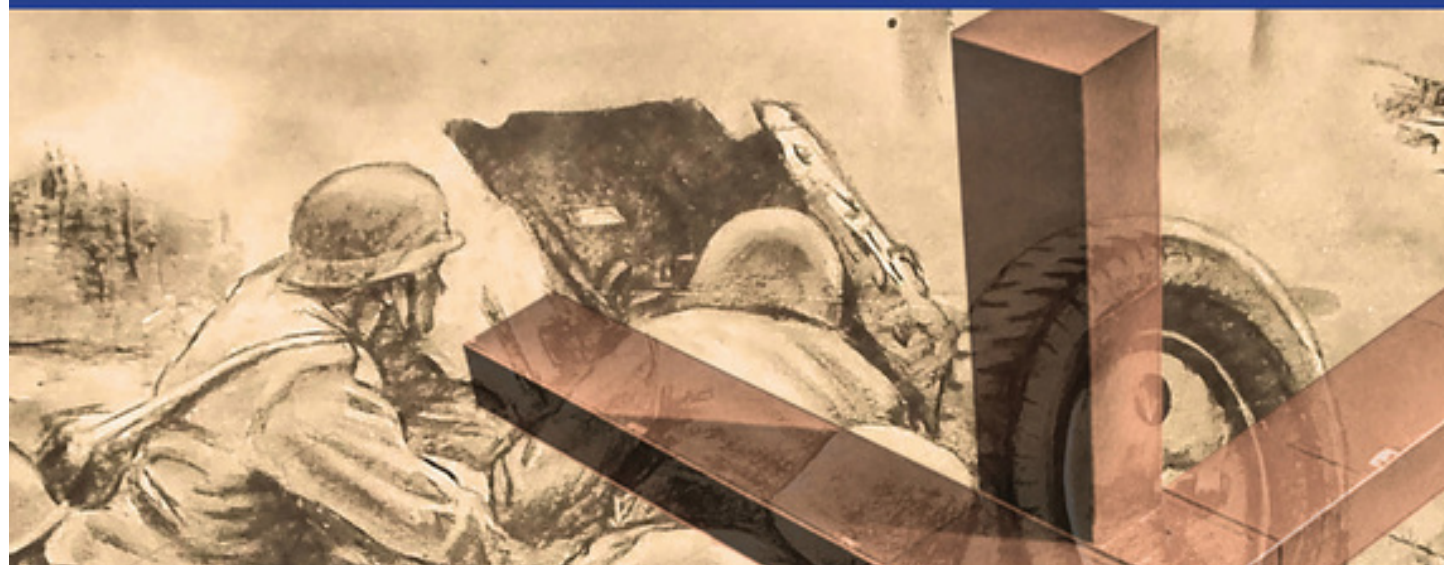


Константин Симонов

Дни и ночи

ФТМ



Константин Симонов

Дни и ночи

«ФТМ»

1943-1944

Симонов К. М.

Дни и ночи / К. М. Симонов — «ФТМ», 1943-1944

ISBN 978-5-4467-0450-7

«Обессиленная женщина сидела, прислонившись к глиняной стене сарая, и спокойным от усталости голосом рассказывала о том, как сгорел Сталинград. Было сухо и пыльно. Слабый ветерок катил под ноги желтые клубы пыли. Ноги женщины были обожжены и босы, и когда она говорила, то рукой подгребала теплую пыль к воспаленным ступням, словно пробуя этим утишить боль. Капитан Сабуров взглянул на свои тяжелые сапоги и невольно на полшага отодвинулся...»

ISBN 978-5-4467-0450-7

© Симонов К. М., 1943-1944

© ФТМ, 1943-1944

Содержание

I	5
II	9
III	12
IV	17
V	25
VI	32
VII	35
VIII	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Константин Симонов

Дни и ночи

Памяти погибших за Сталинград

*...так тяжкий млат,
дробя стекло, кует булат.*

А. Пушкин

I

Обессилевшая женщина сидела, прислонившись к глиняной стене сарая, и спокойным от усталости голосом рассказывала о том, как сгорел Сталинград.

Было сухо и пыльно. Слабый ветерок катил под ноги желтые клубы пыли. Ноги женщины были обожжены и босы, и когда она говорила, то рукой подгребала теплую пыль к воспаленным ступням, словно пробуя этим утишить боль.

Капитан Сабуров взглянул на свои тяжелые сапоги и невольно на полшага отодвинулся.

Он молча стоял и слушал женщину, глядя поверх ее головы туда, где у крайних домиков, прямо в степи, разгружался эшелон.

За степью блестела на солнце белая полоса соляного озера, и все это, вместе взятое, казалось краем света. Теперь, в сентябре, здесь была последняя и ближайшая к Сталинграду железнодорожная станция. Дальше от берега Волги предстояло идти пешком. Городишко назывался Эльтоном, по имени соляного озера. Сабуров невольно вспомнил заученные еще со школы слова «Эльтон» и «Баскунчак». Когда-то это было только школьной географией. И вот он, этот Эльтон: низкие домики, пыль, захолустная железнодорожная ветка.

А женщина все говорила и говорила о своих несчастьях, и, хотя слова ее были привычными, у Сабурова защемило сердце. Прежде уходили из города в город, из Харькова в Валуйки, из Валук в Россошь, из Россоши в Богучар, и так же плакали женщины, и так же он слушал их со смешанным чувством стыда и усталости. Но здесь была заволжская голая степь, край света, и в словах женщины звучал уже не упрек, а отчаяние, и уже некуда было дальше уходить по этой степи, где на многие версты не оставалось ни городов, ни рек – ничего.

– Куда загнали, а? – прошептал он, и вся безотчетная тоска последних суток, когда он из теплушки смотрел на степь, стеснилась в эти два слова.

Ему было очень тяжело в эту минуту, но, вспомнив страшное расстояние, отделявшее его теперь от границы, он подумал не о том, как он шел сюда, а именно о том, как ему придется идти обратно. И было в его невеселых мыслях то особенное упрямство, свойственное русскому человеку, не позволявшее ни ему, ни его товарищам ни разу за всю войну допустить возможность, при которой не будет этого «обратно».

И все-таки дальше так продолжаться не могло. Сейчас, в Эльтоне, он вдруг почувствовал, что именно здесь и лежит тот предел, за который уже нельзя переступить.

Он посмотрел на поспешно выгружавшихся из вагонов солдат, и ему захотелось как можно скорее добраться по этой пыли до Волги и, переправившись через нее, почувствовать, что обратной переправы не будет и что его личная судьба будет решаться на том берегу, заодно с участью города. И если немцы возьмут город, он непременно умрет, и если он не даст им этого сделать, то, может быть, выживет.

А женщина, сидевшая у его ног, все еще рассказывала про Сталинград, одну за другой называя разбитые и сожженные улицы. Незнакомые Сабурову названия их для нее были исполнены особого смысла. Она знала, где и когда были построены сожженные сейчас дома, где и когда посажены спиленные сейчас на баррикады деревья, она жалела все это, как будто речь шла не о большом городе, а о ее доме, где пропали и погибли до слез знакомые, принадлежавшие лично ей вещи.

Но о своем доме она как раз не говорила ничего, и Сабуров, слушая ее, подумал, как, в сущности, редко за всю войну попадались ему люди, жалевшие о своем пропавшем имуществе. И чем дальше шла война, тем реже люди вспоминали свои брошенные дома и тем чаще и упрямее вспоминали только покинутые города.

Вытерев слезы концом платка, женщина обвела долгим вопросительным взглядом всех слушавших ее и сказала задумчиво и убежденно:

- Денег-то сколько, трудов сколько!
- Чего трудов? – спросил кто-то, не поняв смысла ее слов.
- Обратно построить все, – просто сказала женщина.

Сабуров спросил женщину о ней самой. Она сказала, что два ее сына давно на фронте и один из них уже убит, а муж и дочь, наверное, остались в Сталинграде. Когда начались бомбежка и пожар, она была одна и с тех пор ничего не знает о них.

– А вы в Сталинград? – спросила она.

– Да, – ответил Сабуров, не видя в этом военной тайны, ибо для чего же еще, как не для того, чтобы идти в Сталинград, мог разгружаться сейчас воинский эшелон в этом забытом богом Эльтоне.

– Наша фамилия Клименко. Муж – Иван Васильевич, а дочь – Аня. Может, встретите где живых, – сказала женщина со слабой надеждой.

– Может, и встречу, – привычно ответил Сабуров.

Батальон заканчивал выгрузку. Сабуров простился с женщиной и, выпив ковш воды из выставленной на улицу бадейки, направился к железнодорожному полотну.

Бойцы, сидя на шпалах, сняв сапоги, подвертывали портянки. Некоторые из них, сэкономившие выданный с утра паек, жевали хлеб и сухую колбасу. По батальону прошел верный, как обычно, солдатский слух, что после выгрузки сразу предстоит марш, и все спешили закончить свои недоделанные дела. Одни ели, другие чинили порванные гимнастерки, третьи перекуривали.

Сабуров прошелся вдоль станционных путей. Эшелон, в котором ехал командир полка Бабченко, должен был подойти с минуты на минуту, и до тех пор оставался еще не решенным вопрос, начнет ли батальон Сабурова марш к Сталинграду, не дожидаясь остальных батальонов, или же после ночевки, утром, сразу двинется весь полк.

Сабуров шел вдоль путей и разглядывал людей, вместе с которыми послезавтра ему предстояло вступить в бой.

Многих он хорошо знал в лицо и по фамилии. Это были «воронежские» – так про себя называл он тех, которые воевали с ним еще под Воронежем. Каждый из них был драгоценностью, потому что им можно было приказывать, не объясняя лишних подробностей.

Они знали, когда черные капли бомб, падающие с самолета, летят прямо на них и надо ложиться, и знали, когда бомбы упадут дальше и можно спокойно наблюдать за их полетом. Они знали, что под минометным огнем ползти вперед ничуть не опасней, чем оставаться лежать на месте. Они знали, что танки чаще всего давят именно бегущих от них и что немецкий автоматчик, стреляющий с двухсот метров, всегда больше рассчитывает испугать, чем убить. Словом, они знали все те простые, но спасительные солдатские истины, знание которых давало им уверенность, что их не так-то легко убить.

Таких солдат у него была треть батальона. Остальным предстояло увидеть войну впервые. У одного из вагонов, охраняя еще не погруженное на повозки имущество, стоял молодой красноармеец, издали обративший на себя внимание Сабурова гвардейской выправкой и густыми рыжими усами, как пики, торчавшими в стороны. Когда Сабуров подошел к нему, тот лихо взял «на караул» и прямым, немигающим взглядом продолжал смотреть в лицо капитану. В том, как он стоял, как был подпоясан, как держал винтовку, чувствовалась та солдатская бывалость, которая дается только годами службы. Между тем Сабуров, помнивший в лицо почти всех, кто был с ним под Воронежем, до переформирования дивизии, этого красноармейца не помнил.

– Как фамилия? – спросил Сабуров.

– Конюков, – отчеканил красноармеец и снова уставился неподвижным взглядом в лицо капитану.

– В боях участвовали?

– Так точно.

– Где?

– Под Перемышлем.

– Вот как. Значит, от самого Перемышля отступали?

– Никак нет. Наступали. В шестнадцатом году.

– Вот оно что.

Сабуров внимательно взглянул на Конюкова. Лицо солдата было серьезно, почти торжественно.

– А в эту войну давно в армии? – спросил Сабуров.

– Никак нет, первый месяц.

Сабуров еще раз с удовольствием окинул глазом крепкую фигуру Конюкова и пошел дальше. У последнего вагона он встретил своего начальника штаба лейтенанта Масленникова, распорядившегося выгрузкой.

Масленников доложил ему, что через пять минут выгрузка будет закончена, и, посмотрев на свои ручные квадратные часы, сказал:

– Разрешите, товарищ капитан, сверить с вашими?

Сабуров молча вынул из кармана свои часы, пристегнутые за ремешок английской булавкой. Часы Масленникова отставали на пять минут. Он с недоверием посмотрел на старые серебряные, с треснувшим стеклом часы Сабурова.

Сабуров улыбнулся:

– Ничего, переставляйте. Во-первых, часы еще отцовские, Буре, а во-вторых, привыкайте к тому, что на войне верное время всегда бывает у начальства.

Масленников еще раз посмотрел на те и другие часы, аккуратно подвел свои и, откозыряв, попросил разрешения быть свободным.

Поездка в эшелоне, где его назначили комендантом, и эта выгрузка были для Масленникова первым фронтовым заданием. Здесь, в Эльтоне, ему казалось, что уже пахнет близостью фронта. Он волновался, предвкушая войну, в которой, как ему казалось, он постыдно долго не принимал участия. И все порученное ему сегодня Сабуровым выполнил с особой аккуратностью и тщательностью.

– Да, да, идите, – сказал Сабуров после секундного молчания.

Глядя на это румяное, оживленное мальчишеское лицо, Сабуров представил себе, каким оно станет через неделю, когда грязная, утомительная, беспощадная окопная жизнь всей тяжестью впервые обрушится на Масленникова.

Маленький паровоз, пыхтя, втаскивал на запасный путь долгожданный второй эшелон.

Как всегда торопясь, с подножки классного вагона еще на ходу соскочил командир полка подполковник Бабченко. Подвернув при прыжке ногу, он выругался и заковылял к спешившему навстречу ему Сабурову.

– Как с разгрузкой? – хмуро, не глядя в лицо Сабурову, спросил он.

– Закончена.

Бабченко огляделся. Разгрузка и в самом деле была закончена. Но хмурый вид и строгий тон, сохранять которые Бабченко считал своим долгом при всех разговорах с подчиненными, требовали от него и сейчас, чтобы он для поддержания своего престижа сделал какое-либо замечание.

– Что делаете? – отрывисто спросил он.

– Жду ваших приказаний.

– Лучше бы людей пока накормили, чем ждать.

– В том случае, если мы тронемся сейчас, я решил кормить людей на первом привале, а в том случае, если мы заночуем, решил организовать им через час горячую пищу здесь, – неторопливо ответил Сабуров с той спокойной логикой, которую в нем особенно не любил вечно спешивший Бабченко.

Подполковник промолчал.

– Прикажете сейчас кормить? – спросил Сабуров.

– Нет, покормите на привале. Пойдете, не дожидаясь остальных. Прикажете строиться. Сабуров подозвал Масленникова и приказал ему построить людей.

Бабченко хмуро молчал. Он привык делать всегда все сам, всегда спешил и часто не поспевал.

Собственно говоря, командир батальона не обязан сам строить походную колонну. Но то, что Сабуров поручил это другому, а сам сейчас спокойно, ничего не делая, стоял рядом с ним, командиром полка, сердило Бабченко. Он любил, чтобы в его присутствии подчиненные суеились и бегали. Но от спокойного Сабурова он никогда не мог этого добиться. Отвернувшись, он стал смотреть на строившуюся колонну. Сабуров стоял рядом. Он знал, что командир полка недолюбливает его, но уже привык к этому и не обращал внимания.

Они оба с минуту стояли молча. Вдруг Бабченко, по-прежнему не оборачиваясь к Сабурову, сказал с гневом и обидой в голосе:

– Нет, ты посмотри, что они с людьми делают, сволочи!

Мимо них, тяжело переступая по шпалам, вереницей шли сталинградские беженцы, оборванные, изможденные, перевязанные серыми от пыли бинтами.

Они оба посмотрели в ту сторону, куда предстояло идти полку. Там лежала все та же, что и здесь, лысая степь, и только пыль впереди, завившаяся на буграх, похожа была на далекие клубы порохового дыма.

– Место сбора в Рыбачьем. Идите ускоренным маршем и вышлите ко мне связных, – сказал Бабченко с прежним хмурым выражением лица и, повернувшись, пошел к своему вагону.

Сабуров вышел на дорогу. Роты уже построились. В ожидании начала марша была дана команда: «Вольно». В рядах тихо переговаривались. Идя к голове колонны мимо второй роты, Сабуров снова увидел рыжеусого Конюкова: он что-то оживленно рассказывал, размахивая руками.

– Батальон, слушай мою команду!

Колонна тронулась. Сабуров шагал впереди. Далекая пыль, вившаяся над степью, опять показалась ему дымом. Впрочем, может быть, и в самом деле впереди горела степь.

II

Двадцать суток назад, в душный августовский день, бомбардировщики воздушной эскадры Рихтгофена с утра повисли над городом. Трудно сказать, сколько их было на самом деле и по сколько раз они бомбили, улетали и вновь возвращались, но всего за день наблюдатели насчитали над городом две тысячи самолетов.

Город горел. Он горел ночь, весь следующий день и всю следующую ночь. И хотя в первый день пожара бои шли еще за шестьдесят километров от города, у донских переправ, но именно с этого пожара и началось большое сталинградское сражение, потому что и немцы и мы – одни перед собой, другие за собой – с этой минуты увидели зарево Сталинграда, и все помыслы обеих сражавшихся сторон были отныне, как к магниту, притянуты к горящему городу.

На третий день, когда пожар начал стихать, в Сталинграде установился тот особый тягостный запах пепелища, который потом так и не покидал его все месяцы осады. Запахи горелого железа, обугленного дерева и пережженного кирпича смешались во что-то одно, одуряющее, тяжелое и едкое. Сажа и пепел быстро осели на землю, но, как только задувал самый легкий ветер с Волги, этот черный прах начинал клубиться вдоль сожженных улиц, и тогда казалось, что в городе снова дымно.

Немцы продолжали бомбардировки, и в Сталинграде то там, то здесь вспыхивали новые, уже никого не поражавшие пожары. Они сравнительно быстро кончались, потому что, спалив несколько новых домов, огонь вскоре доходил до ранее сгоревших улиц и, не находя себе пищи, потухал. Но город был так огромен, что все равно всегда где-нибудь что-то горело, и все уже привыкли к этому постоянному зареву, как к необходимой части ночного пейзажа.

На десятые сутки после начала пожара немцы подошли так близко, что их снаряды и мины стали все чаще разрываться в центре города.

На двадцать первые сутки наступила та минута, когда человеку, верящему только в военную теорию, могло показаться, что защищать город дальше бесполезно и даже невозможно. Севернее города немцы вышли на Волгу, южнее – подходили к ней. Город, растянувшийся в длину на шестьдесят пять километров, в ширину нигде не имел больше пяти, и почти по всей длине его немцы уже заняли западные окраины.

Канонада, начавшаяся в семь утра, не прекращалась до заката. Непосвященному, попавшему в штаб армии, показалось бы, что все обстоит благополучно и что, во всяком случае, у обороняющихся еще много сил. Посмотрев на штабную карту города, где было нанесено расположение войск, он бы увидел, что этот сравнительно небольшой участок весь густо исписан номерами стоящих в обороне дивизий и бригад. Он бы мог услышать приказания, отдаваемые по телефону командирам этих дивизий и бригад, и ему могло бы показаться, что стоит только точно выполнить все эти приказания, и успех, несомненно, обеспечен. Для того же, чтобы действительно понять, что происходило, этому непосвященному наблюдателю следовало бы добраться до самих дивизий, которые в виде таких аккуратных красных полукружий были отмечены на карте.

Большинство отступавших из-за Дона, измотанных в двухмесячных боях дивизий по количеству штыков представляли собой сейчас неполные батальоны. В штабах и в артиллерийских полках еще было довольно много людей, но в стрелковых ротах каждый боец был на счету. В последние дни в тыловых частях взяли всех, кто не был там абсолютно необходим. Телефонисты, повара, химики перешли в распоряжение командиров полков и по необходимости стали пехотой. Но хотя начальник штаба армии, смотря на карту, отлично знал, что его дивизии уже не дивизии, однако размеры участков, которые они занимали, по-

прежнему требовали, чтобы на их плечи падала именно та задача, которая должна падать на плечи дивизии. И, зная, что бремя это непосильно, все начальники от самых больших до самых малых все-таки клали это непосильное бремя на плечи своих подчиненных, ибо другого выхода не было, а воевать было по-прежнему необходимо.

Перед войной командующий армией, наверное, рассмеялся бы, если бы ему сказали, что придет день, когда весь подвижной резерв, которым он будет располагать, составит несколько сот человек. А между тем сегодня это было именно так... Несколько сот автоматчиков, посаженных на грузовики, – это было все, что он в критический момент прорыва мог быстро перебросить из одного конца города в другой.

На большом и плоском холме Мамаева кургана, в каком-нибудь километре от передовой, в землянках и окопах разместился командный пункт армии. Немцы прекратили атаки, то ли отложив их до темноты, то ли решив передохнуть до утра. Обстановка вообще и эта тишина в особенности заставляли предполагать, что утром будет непременный и решительный штурм.

– Пообедали бы, – сказал адъютант, с трудом протискиваясь в маленькую землянку, где сидели над картой начальник штаба и член Военного совета. Они оба поглядели друг на друга, потом на карту, потом снова друг на друга. Если бы адъютант не напомнил им, что нужно обедать, они, может быть, еще долго сидели бы над ней. Они одни знали, насколько было опасно положение на самом деле, и хотя все, что возможно было сделать, было уже предусмотрено и командующий сам выехал в дивизии проверить выполнение своих приказаний, но от карты все-таки трудно было оторваться – хотелось чудом выискать на этом листе бумаги еще какие-то новые, небывалые возможности.

– Обедать так обедать, – сказал член Военного совета Матвеев, человек по характеру жизнерадостный и любивший покушать в тех случаях, когда среди штабной сутолоки на это оставалось время.

Они вышли на воздух. Начинало темнеть. Внизу, справа от кургана, на фоне свинцового неба, как стадо огненных зверей, промелькнули снаряды «катюш». Немцы готовились к ночи, пуская в воздух первые белые ракеты, обозначающие их передний край.

Через Мамаев курган проходило так называемое зеленое кольцо. Его затеяли в тридцатом году сталинградские комсомольцы и десять лет окружали свой пыльный и душный город поясом молодых парков и бульваров. Вершина Мамаева кургана была тоже обсажена тоненькими десятилетними липками.

Матвеев огляделся. Так хорош был этот теплый осенний вечер, так неожиданно тихо стало кругом, так пахло последней летней свежестью от начинавших желтеть липок, что ему показалось нелепым сидеть в полуразрушенной халупе, где помещалась столовая.

– Скажи, чтобы стол сюда вынесли, – обратился он к адъютанту, – под липками будем обедать.

С кухни вынесли колченогий стол, покрыли скатертью, приставили две скамейки.

– Ну что ж, генерал, сели, – сказал Матвеев начальнику штаба. – Давно мы с тобой под липками не обедали, и едва ли скоро придется.

И он оглянулся назад, на сожженный город.

Адъютант принес водку в стаканах.

– А помнишь, генерал, – продолжал Матвеев, – когда-то в Сокольниках, около лабиринта, такие клетушки с живою оградой из подстриженной сирени были, и в каждой столик и скамеечки. И самовар подавали... Туда все больше семьями приезжали.

– Ну и комаров же там было, – вставил не расположенный к лирике начальник штаба, – не то, что здесь.

– А здесь самовара нет, – сказал Матвеев.

– Зато и комаров нет. А лабиринт там действительно был такой, что трудно выбраться.

Матвеев посмотрел через плечо на расстилавшийся внизу город и усмехнулся:

– Лабиринт...

Внизу сходились, расходились и перепутывались улицы, на которых среди решений многих человеческих судеб предстояло решаться одной большой судьбе – судьбе армии.

В полутьме вырос адъютант.

– С левого берега от Боброва прибыли. – По его голосу было видно, что он бежал сюда и запыхался.

– Где они? – вставая, отрывисто спросил Матвеев.

– Со мной! Товарищ майор! – позвал адъютант.

Рядом с ним появилась плохо различимая в темноте высокая фигура.

– Встретили? – спросил Матвеев.

– Встретили. Полковник Бобров приказал доложить, что сейчас начнет переправу.

– Хорошо, – сказал Матвеев и глубоко и облегченно вздохнул.

То, что последние часы волновало и его, и начальника штаба, и всех окружающих, решилось.

– Командующий еще не вернулся? – спросил он адъютанта.

– Нет.

– Поищите по дивизиям, где он, и доложите, что Бобров встретил.

III

Полковник Бобров еще с утра был отправлен встретить и поторопить ту самую дивизию, в которой командовал батальоном Сабуров. Бобров встретил ее в полдень, не доезжая Средней Ахтубы, в тридцати километрах от Волги. И первым, с кем он говорил, был как раз Сабуров, шедший в голове батальона. Спросив у Сабурова номер дивизии и узнав у него, что командир ее следует позади, полковник быстро сел в готовую тронуться машину.

– Товарищ капитан, – сказал он Сабурову и поглядел ему в лицо усталыми глазами, – мне не нужно вам объяснять, почему к восемнадцати часам ваш батальон должен быть на переправе.

И, не добавив ни слова, захлопнул дверцу.

В шесть часов вечера, возвращаясь, Бобров застал Сабурова уже на берегу. После утомительного марша батальон пришел к Волге нестройно, растянувшись, но уже через полчаса после того, как первые бойцы увидели Волгу, Сабурову удалось в ожидании дальнейших приказаний разместить всех вдоль оврагов и склонов холмистого берега.

Когда Сабуров в ожидании переправы присел отдохнуть на лежавшие у самой воды бревна, полковник Бобров подсел к нему и предложил закурить.

Они закурили.

– Ну как там? – спросил Сабуров и кивнул по направлению к правому берегу.

– Трудно, – ответил полковник. – Трудно... – И в третий раз шепотом повторил: – Трудно, – словно нечего было добавить к этому исчерпывающему все слову.

И если первое «трудно» означало просто трудно, а второе «трудно» – очень трудно, то третье «трудно», сказанное шепотом, – значило – страшно трудно, до зарезу.

Сабуров молча посмотрел на правый берег Волги. Вот он – высокий, обрывистый, как все западные берега русских рек. Вечное несчастье, которое на себе испытал Сабуров в эту войну: все западные берега русских и украинских рек были обрывистые, все восточные – отлогие. И все города стояли именно на западных берегах рек – Киев, Смоленск, Днепропетровск, Ростов... И все их было трудно защищать, потому что они прижаты к реке, и все их будет трудно брать обратно, потому что они тогда окажутся за рекой.

Начинало темнеть, но было хорошо видно, как кружатся, входят в пике и выходят из него над городом немецкие бомбардировщики, и густым слоем, похожим на мелкие перистые облачка, покрывают небо зенитные разрывы.

В южной части города горел большой элеватор, даже отсюда было видно, как пламя вздымалось над ним. В его высокой каменной трубе, видимо, была огромная тяга.

А по безводной степи, за Волгой, к Эльтону шли тысячи голодных, жаждущих хотя бы корки хлеба беженцев.

Но все это рождало сейчас у Сабурова не вековечный общий вывод о бесполезности и чудовищности войны, а простое ясное чувство ненависти к немцам.

Вечер был прохладным, но после степного палящего солнца, после пыльного перехода Сабуров все еще никак не мог прийти в себя, ему беспрестанно хотелось пить. Он взял каску у одного из бойцов, спустился по откосу к самой Волге, утопая в мягком прибрежном песке, добрался до воды. Зачерпнув первый раз, он бездумно и жадно выпил эту холодную чистую воду. Но когда он, уже наполовину поостыв, зачерпнул второй раз и поднес каску к губам, вдруг, казалось, самая простая и в то же время острая мысль поразила его: волжская вода! Он пил воду из Волги, и в то же время он был на войне. Эти два понятия – война и Волга – при всей их очевидности никак не вязались друг с другом. С детства, со школы, всю жизнь Волга была для него чем-то таким глубинным, таким бесконечно русским, что сейчас то,

что он стоял на берегу Волги и пил из нее воду, а на том берегу были немцы, казалось ему невероятным и диким.

С этим ощущением он поднялся по песчаному откосу вверх, туда, где продолжал еще сидеть полковник Бобров. Бобров посмотрел на него и, словно отвечая его затаенным мыслям, задумчиво произнес:

– Да, капитан, Волга... – и, показав рукой вверх по течению, добавил: – А вот и наш катер идет с баржей. Одну роту и две пушки разместите...

Пароходик, волочивший за собой баржу, пристал к берегу минут через пятнадцать. Сабуров с Бобровым подошли к наскоро сколоченной деревянной пристани, где должна была производиться погрузка.

Мимо толпившихся у мостков бойцов с баржи несли раненых. Некоторые стонали, но большинство молчало. От носилок к носилкам переходила молоденькая сестра. Вслед за тяжелоранеными с баржи сошли десятка полтора тех, кто мог еще ходить.

– Мало легкораненых, – сказал Сабуров Боброву.

– Мало? – переспросил Бобров и усмехнулся: – Столько же, сколько всюду, только не все переправляются.

– Почему? – спросил Сабуров.

– Как вам сказать... остаются, потому что трудно и потому что азарт. И ожесточение. Нет, я не то вам говорю. Вот переправитесь – на третий день сами поймете почему.

Бойцы первой роты начали по мосткам переходить на баржу. Между тем возникло непредвиденное осложнение, оказалось, что на берегу скопилось множество людей, желавших, чтобы их погрузили именно сейчас и именно на эту баржу, направляющуюся в Сталинград. Один возвращался из госпиталя; другой вез из продовольственного склада бочку водки и требовал, чтобы ее погрузили вместе с ним; третий, огромный здоровяк, прижимая к груди тяжеленный ящик, напирая на Сабурова, говорил, что это капсулы для мин и что если он их не доставит именно сегодня, то ему снимут голову; наконец, были люди, просто по разным надобностям переправившиеся с утра на левый берег и теперь желавшие как можно скорее быть обратно в Сталинграде. Никакие уговоры не действовали. По их тону и выражению лиц никак нельзя было предположить, что там, на правом берегу, куда они так спешили, – осажденный город, на улицах которого каждую минуту рвутся снаряды!

Сабуров разрешил погрузиться человеку с капсулами, интенданту с водкой и оттер остальных, сказав, что они поедут на следующей барже. Последней к нему подошла медсестра, которая только что приехала из Сталинграда и провожала раненых, когда их сгружали с баржи. Она сказала, что на том берегу лежат еще раненые и что с этой баржей ей придется переправить их сюда. Сабуров не смог отказать ей, и, когда рота погрузилась, она вслед за другими по узенькому трапу перебралась сначала на баржу, а потом на пароходик.

Капитан, немолодой человек в синей тужурке и в старой советскофлотской фуражке с поломанным козырьком, буркнул в рупор какое-то приказание, и пароходик отчалил от левого берега.

Сабуров сидел на корме, свесив ноги за борт и обхватив руками поручни. Шинель он снял и положил рядом с собой. Приятно было чувствовать, как ветер с реки забирается под гимнастерку. Он расстегнул гимнастерку и оттянул ее на груди так, что она надулась парусом.

– Простынете, товарищ капитан, – сказала стоявшая рядом с ним девушка, ехавшая за ранеными.

Сабуров улыбнулся. Ему показалось смешным это предположение, что на пятнадцатом месяце войны, переправляясь в Сталинград, он вдруг простудится. Он ничего не ответил.

– И не заметите, как простынете, – настойчиво повторила девушка. – Тут холодно на реке по вечерам. Я вот каждый день переплываю и уже до того простудилась, что даже голоса нет.

Действительно, в ее тонком девичьем голосе чувствовалась простуженная хрипловатость.

– Каждый день переплываете? – спросил Сабуров, поднимая на нее глаза. – По сколько же раз?

– Сколько раненых, столько и переплываю. У нас ведь теперь не как раньше было – сначала в полк, потом медсанбат, потом в госпиталь. Сразу берем раненых с передовой и сами везем за Волгу.

Она сказала это таким спокойным тоном, что Сабуров, неожиданно для себя, задал тот праздный вопрос, который обычно задавать не любил:

– А не страшно вам столько раз туда и назад?

– Страшно, – призналась девушка. – Когда оттуда раненых везу, не страшно, а когда туда одна возвращаюсь – страшно. Когда одна, страшнее, – ведь верно?

– Верно, – сказал Сабуров и про себя подумал, что он и сам, находясь в своем батальоне, думая о нем, всегда меньше боялся, чем в те редкие минуты, когда оставался один.

Девушка села рядом, тоже свесила над водой ноги и, доверчиво тронув его за плечо, сказала шепотом:

– Вы знаете, что страшно? Нет, вы не знаете... Вам уже много лет, вы не знаете... Страшно, что вдруг убьют и ничего не будет. Ничего не будет того, про что я всегда мечтала.

– Чего не будет?

– А ничего не будет... Вы знаете, сколько мне лет? Мне восемнадцать. Я еще ничего не видела, ничего. Я мечтала, как буду учиться, и не училась... Я мечтала, как поеду в Москву и всюду, всюду – и я нигде не была. Я мечтала... – она засмеялась, но потом продолжала: – Мечтала, как выйду замуж, – и ничего этого тоже не было... И вот я иногда боюсь, очень боюсь, что вдруг всего этого не будет. Я умру, и ничего, ничего не будет.

– А если бы вы уже учились и ездили, куда вам хотелось, и были бы замужем, думаете, вам не так было бы страшно? – спросил Сабуров.

– Нет, – убежденно сказала она. – Вот вам, я знаю, не так страшно, как мне. Вам уже много лет.

– Сколько?

– Ну, тридцать пять – сорок, да?

– Да, – улыбнулся Сабуров и с горечью подумал, что совершенно бесполезно ей доказывать, что ему не сорок и даже не тридцать пять и что он тоже еще не научился всему, чему хотел научиться, и не побывал там, где хотел побывать, и не любил так, как ему бы хотелось любить.

– Вот видите, – сказала она, – вам поэтому не должно быть страшно. А мне страшно.

Это было сказано с такой грустью и в то же время самоотверженностью, что Сабурову захотелось вот сейчас же, немедленно, как ребенка, погладить ее по голове и сказать какие-нибудь пустые и добрые слова о том, что все еще будет хорошо и что с ней ничего не случится. Но вид горящего города удержал его от этих праздных слов, и он вместо них сделал только одно: действительно тихо погладил ее по голове и быстро снял руку, не желая, чтобы она подумала, будто он понял ее откровенность иначе, чем это нужно.

– У нас сегодня убили хирурга, – сказала девушка. – Я его перевозила, когда он умер... Он был всегда злой, на всех ругался. И когда оперировал, ругался и на нас кричал. И знаете, чем больше стонали раненые и чем им больнее было, тем он больше ругался. А когда он стал сам умирать, я его перевозила – его в живот ранили, – ему было очень больно, и он тихо лежал, и не ругался, и вообще ничего не говорил. И я поняла, что он, наверное, на самом

деле был очень добрый человек. Он оттого ругался, что не мог видеть, как людям больно, а самому ему когда было больно, он все молчал и ничего не сказал, так до самой смерти... ничего... Только когда я над ним заплакала, он вдруг улыбнулся. Как вы думаете, почему?

– Не знаю, – ответил Сабуров. – Может быть, он был рад, что вы на этой войне еще живы и здоровы, и улыбнулся. А может быть, и не так, не знаю.

– Я тоже не знаю, – сказала девушка. – Мне только было очень жаль его и странно: он такой был большой, здоровый... Мне всегда казалось, что сначала всех нас и меня могут убить, а его уже после всех или вовсе никогда. И вдруг совсем наоборот.

Пароходик, пытаясь, подбирался к сталинградскому берегу, до которого оставалось всего двести или триста метров. И в эту минуту в воду впереди плюхнулся первый снаряд. Сабуров вздрогнул от неожиданности. Девушка не вздрогнула.

– Стреляют. А я все ехала сейчас, говорила с вами и думала: почему не стреляют?

Сабуров не ответил. Он прислушался и еще до падения снаряда понял, что у этого, второго, будет большой перелет. Снаряд действительно упал метров на двести сзади пароходика. Немцы взяли пароходик в так называемую артиллерийскую вилку – один снаряд впереди, один сзади. Сабуров знал, что теперь они поделят вилку пополам, потом это расстояние поделят еще пополам, сделают поправку, и дальнейшее, как всегда на войне, будет делом счастья.

Сабуров поднялся и, сложив руки рупором, крикнул на баржу:

– Масленников, прикажите людям снять шинели и положить рядом с собой!

Красноармейцы, стоявшие рядом с ним на пароходике, поняв, что приказание капитана относилось и к ним, торопливо расстегивали шинели и, стащив с себя, клали у ног.

Немецкий артиллерист действительно, как и предвидел Сабуров, поделил вилку так точно, что третий снаряд плюхнулся почти у самого борта парохода.

– Рама, – сказала девушка.

Сабуров взглянул вверх и увидел невысоко, прямо над головой, немецкий двухфюзеляжный артиллерийский корректировщик «фокке-вульф», который на фронте за его странный, похожий на букву П хвост повсеместно прозвали «рамой». Теперь была понятна точность стрельбы немецких артиллеристов. Пароходик был лишен возможности маневрировать из-за баржи. Оставалось только ждать те пять минут, которые отделяли их от берега.

Сабуров взглянул на девушку. Она стояла в пяти шагах от Сабурова, у борта, там, где он ее оставил, и привычно ждала, упрямо глядя в простирающуюся под ее ногами воду.

Сабуров подошел к ней:

– В случае чего, до берега доплывете?

– Я не умею плавать.

– Совсем?

– Совсем.

– Тогда станьте поближе туда, – сказал Сабуров. – Вон, видите, круг.

Он показал рукой туда, где висел круг, и в эту секунду снаряд попал в пароход, очевидно, в машинное отделение или в котлы, потому что все сразу загремело, перекошилось, и покотившиеся люди сшибли Сабурова с ног. Его подбросило вверх и швырнуло в воду. Выгребая руками, он очутился на поверхности. Та часть пароходика, на которой осталась труба, перевернулась в двадцати шагах от Сабурова и, как большим стаканом, зачерпнув трубой воду, ушла в глубину.

Кругом барахтались люди. Сабуров подумал, что хорошо сделал, приказав снять им шинели. Тяжело налитые сапоги тянули ноги вниз, и он сначала решил нырнуть и стащить с себя сапоги. Но баржа была так близко, что он по-солдатски пожалел сапоги и решил, что доплывет и так.

Все эти мысли промелькнули у него в голове в течение одной секунды, а в следующую секунду он увидел в нескольких метрах от себя девушку, которая, неудачно попытавшись схватиться за обломок парохода, погрузилась в воду. Сабуров сделал несколько быстрых взмахов саженками и, когда девушка еще раз оказалась на поверхности, ухватил ее за гимнастерку. К счастью, баржа неслась по течению, почти прямо на него, и через полминуты он схватился за протянутые руки бойцов. Подтянувшись к борту, он подтянул за собой и девушку и, убедившись, что ее уже втягивают на баржу, сам быстро влез на борт.

– Ой, слава богу, товарищ капитан, – обрадовался оказавшийся рядом с ним Масленников.

Сабуров взглянул на него. Масленников был без сапог и без гимнастерки: он уже готов был прыгать в воду.

Бойцы один за другим подплывали к барже. Последним подплыл капитан парохода. Он влез, отфыркиваясь и чертыхаясь и еще глубже надвигая на лоб неведомо как удержавшуюся у него на голове советгфлотовскую фуражку со сломанным козырьком.

Наперерез несшейся по течению барже от берега, пытаясь, спешил катерок.

– Готовься чалить! – крикнули с него хриплым басом.

Мешочек с песком на тонкой бечеве, со свистом перерезав воздух, шлепнулся на баржу. Красноармейцы дружно начали тянуть канат.

Позади баржи упало в воду еще несколько снарядов, и все стихло: близкий крутой берег мешал немцам стрелять.

– Пересчитайте людей, – сказал Сабуров Масленникову, – да оденьтесь. Так и будете босиком стоять?

Масленников смущенно посмотрел на свои босые ноги и торопливо стал надевать сапоги.

Кто-то из бойцов накинул на плечи Сабурова свою шинель.

– Девушке дайте шинель, – сказал Сабуров. – Где она?

Она сидела тут же, в нескольких шагах от него, в уже накинутой кем-то на плечи шинели и, словно забыв о том, что она вся до нитки промокла, с женской старательностью выжимала свои длинные волосы, накрутив их на кулаки. Сабуров хотел подойти к ней, но до его плеча дотронулся Масленников.

– Ну?

– Восьми человек нет, – шепотом сообщил Масленников, и на его лице изобразилось страдание: еще только пристают к берегу, еще не было никакого боя, и вот уже нет восьми человек.

Баржа пришвартовалась. Теперь были слышны не только артиллерийские разрывы, но и близкая пулеметная трескотня. Сабурова, еще не знавшего истинного положения вещей в городе, это поразило. Пулеметы стреляли не дальше как в двух-трех километрах отсюда.

Взволнованные люди спешили скорей перебраться на берег. Сабуров пропускал их мимо себя. Девушка сошла одной из первых. Когда Сабуров вспомнил о ней, ее уже не было ни на барже, ни на пристани. Он и Масленников сошли с баржи последними.

IV

К ночи разразилась гроза. В десять часов, когда Сабуров переправлял свою последнюю роту, все окружающее было похоже на какую-то нарочито мрачную фантастическую картину. Волга шумела и пенилась; впереди, на фоне ночи, по всему горизонту поднимались багровые столбы пожара, и где-то поверх, на черном небе, отражаясь в нем, плясали багровые отсветы. Частые молнии, выхватывая из темноты куски берега, освещали причудливые изломы обрушившихся домов, вздыбленные к небу крыши, огромные бензиновые цистерны, смятые, как бумажные трубки, сжатые в кулаке. Косой крупный дождь бил в лицо.

На берегу в страшной темноте трудно было разобраться среди развалин и обломков; люди находили друг друга на ощупь и по голосу, а кругом все шумела и плескалась бесконечно падавшая с неба вода.

С последней баржей Сабуров переправил свои походные кухни и повозки с провиантом. Нечего было и думать приготовить горячую пищу среди этой темноты и хаоса. Старшины, собравшиеся около повозок, получали сухой паек и в темноте на ощупь раздавали его людям. Спрятаться от дождя и ветра было почти негде, все было мокро: доски, навесы, развалины.

Близкая стрельба, которую слышал Сабуров на закате, сейчас почти прекратилась; иногда только вспыхивали и сразу же гасли очереди. Зато и слева и справа беспрерывно слышались артиллерийские раскаты, перемежавшиеся с раскатами грома.

Хотя Сабуров понимал, что главная опасность начнется с рассветом, ему все-таки хотелось, чтобы поскорее начался этот рассвет, – тогда, по крайней мере, можно будет разбраться и увидеть, где они находятся, что вокруг них и куда им надо двигаться.

Ровно в двенадцать ночи, когда Сабурову удалось наконец разместить свои роты вдоль ближайших к берегу, превращенных в развалины улиц, когда смертельно усталые люди кто как заснули или пытались заснуть, связной, пришедший от Бабченко, потребовал комбата к командиру дивизии.

Штаб дивизии оказался тут же на берегу, в десяти минутах ходьбы от Сабурова. Он временно помещался под высоким фундаментом здания, построенного вкось на обрыве. Это была довольно глубокая нора, огороженная врытыми в землю, похожими на колонны бетонными упорами. Подвал освещался подвешенной на столбе лампой «летучая мышь».

Сабуров не разобрал лиц, но по гулу голосов понял, что в подвале много людей.

– Сабуров, – услышал он голос Бабченко.

– Ну что ж, теперь все, – сказал другой голос, показавшийся Сабурову знакомым.

Сабуров взгляделся и увидел, что рядом с Бабченко стоит командир дивизии полковник Проценко, которого Сабуров хорошо и давно знал, но не видел полтора месяца, с тех пор как тот был ранен под Воронежем и отправлен в госпиталь. Проценко вернулся в дивизию недавно, перед отправкой на фронт. Сабуров знал об этом, но до сих пор еще не видел его. Полковник, относившийся равнодушно и даже пристрастно к тем, кто с ним давно служил, сделал из темноты шаг вперед к «летучей мыши» и, похлопав Сабурова по плечу, спросил:

– Ну как, Алексей Иванович? Все живой еще?

– Все живой, – ответил Сабуров.

Проценко любил называть всех, даже самых маленьких командиров, которых он давно знал, непременно по имени-отчеству, подчеркивая этим перед остальными свое старое солдатское товарищество с ними, независимо от их званий.

– Живой, – улыбнулся Проценко. – И я живой. Это хорошо. – И, обращаясь к кому-то, плохо различимому в темноте, сказал: – Старые друзья, товарищ генерал, еще под Москвой вместе были...

И, сразу перейдя с ласкового тона на строго официальный, переспросив еще раз, все ли вызванные им командиры собрались, начал объяснять задачу этой ночи. Надо было за ночь сменить остатки дивизии, стоявшей на направлении главного удара немцев. Полк Бабченко должен был ночной атакой выбить немцев с окраины заводского поселка, где они сегодня днем ближе всего подошли к Волге и откуда Сабуров, очевидно, и слышал близкую автоматную стрельбу.

Проценко подробно и точно, как обычно он это делал, объяснил задачу, ведя карандашом по аккуратно сложенной чистенькой карте, и потом, отпустив командиров двух полков, которым в эту ночь предстояло только занимать позиции, обратился к Бабченко:

– Понимаешь, Филипп Филиппович, что ты сделать должен?

– Сделаем, – сказал Бабченко.

– В каждый батальон я тебе дам присланных из армии командиров, знающих город и обстановку. Товарищи командиры! – повернулся Проценко.

Из темноты вышли трое командиров: два старших лейтенанта и капитан.

– Будете в распоряжении подполковника. Обстановка трудная... – глядя в упор на Бабченко, сказал Проценко. – Очень трудная... Бой ночной в незнакомом городе. Здесь шаблонов не может быть. Чем больше будет драться народу, тем больше путаницы и потерь. Неожиданностью и решимостью, а не числом. Вы понимаете, товарищ Бабченко? – сказал Проценко строго, словно предупреждая этими словами возможные решения Бабченко, которые он предвидел и не одобрял. – Сегодня ночью будете воевать одним батальоном, а два должны быть у вас готовы к рассвету для поддержки и отражения контратак. Атаковать поручите Сабурову.

Оставив Бабченко и обратившись к Сабурову, Проценко продолжал:

– А вы тоже должны помнить – ночью не числом, а неожиданностью, как в Воронеже...

Помните Воронеж?

– Так точно.

– Хорошо помните?

– Так точно.

– Ну, тогда все. Держитесь как в Воронеже, и еще лучше. Вот и все, вся мудрость...

Проценко повернулся к человеку, стоявшему позади и молча слушавшему разговор. Теперь Сабуров разглядел его. Он был одет в черное кожаное, блестящее от дождя пальто с полевыми генеральскими петлицами. Очевидно, он дал Проценко все указания еще раньше и теперь только слушал.

– У вас приказаний не будет, товарищ генерал? – спросил Проценко. – Разрешите отпустить командиров?

– Сейчас, – сказал генерал и подошел ближе к свету.

Теперь Сабуров мог разглядеть его. Он был среднего роста, с тяжелой львиной головой, смотревшими исподлобья тяжелыми глазами, с тяжелым подбородком и с общим выражением какого-то особенного упорства во всем – в глазах, в наклоненной голове, в стремительно подавшейся вперед фигуре. Казалось, что он сейчас скажет слова непременно угрюмые и резкие, но голос, каким он заговорил, был неожиданно ясным, спокойным.

– В уличных боях участвовали? – спросил он Сабурова.

– Так точно.

– Саперов вперед, автоматчиков вперед, лучших стрелков вперед. Поняли?

– Понял.

– И сами вперед. В этих случаях у нас, в Сталинграде, так принято.

– И у нас в дивизии тоже так принято, – сказал Сабуров с неожиданной для себя резкостью.

Лицо генерала не выразило ничего. По нему нельзя было угадать, понравился или не понравился ему ответ.

– Разрешите отправляться командирам? – повторил Проценко.

– Да, пусть идут, – произнес генерал.

Выходя, Сабуров почувствовал на себе его внимательный взгляд и услышал последние, громче остальных сказанные слова Проценко, ответившего на вопрос генерала:

– Ничего, осилит...

Идя в темноте вслед за Бабченко, Сабуров спросил его, когда же тот наконец даст ему комиссара вместо прежнего, заболевшего тифом и снятого с эшелона по дороге.

– Что ж я тебе его рожу, что ли? – грубо отрезал Бабченко. – Политрук первой роты выполняет его обязанности или нет?

– Выполняет, – недовольно ответил Сабуров, но Бабченко сделал вид, что не понял его.

– А раз выполняет – пусть и дальше выполняет.

Они прошли еще несколько десятков шагов в молчании. Сабуров не любил и не ценил Бабченко, но уважал за личную храбрость, и, кроме того, это все-таки был его командир полка, человек, вместе с которым через час они вступят в бой. Сабуров не то что боялся, но волнение, более сильное, чем обычно, охватило его перед этим ночным боем, и ему хотелось услышать от Бабченко что-то, что могло его поддержать.

– Как думаете, товарищ подполковник, должно все хорошо сойти, а?

– Я не думаю и вам не советую. Приказ есть? Есть. А думать завтра будем, когда выполним.

Он сказал это сухо, по-обычному, как всегда, ничего не поняв из того, что делалось в душе его подчиненного. И Сабурову не захотелось больше ни о чем его спрашивать.

Когда Сабуров вернулся в расположение батальона, оказалось, что его ординарец, которого все в батальоне, несмотря на его тридцатилетний возраст, звали просто Петей, уже устроил среди развалин барака подобие командного пункта; правда, влезать туда надо было на четвереньках, но зато там было сравнительно сухо и горел свет.

Сабуров позвал к себе Масленникова, политрука Парфенова, заменявшего комиссара батальона, и командиров всех трех рот: долговязого, усатого, похожего на Чапаева Гордиенко, маленького Винокурова и спокойного, тяжеловесного сибиряка, пришедшего недавно из запаса, Потапова. Сабуров дал командирам полчаса на то, чтобы выбрать из каждой роты по пятьдесят человек автоматчиков и лучших стрелков.

– Впереди, – объяснил он, развертывая план города, – лежит площадь. На той стороне – дома, уже взятые немцами, – три больших дома, каждый в полквартала. Эти дома надо занять сегодня ночью, – говорил он, подчеркивая значение этих слов только тем, что после каждого делал паузу, словно ставил точку...

...Силы он поделил на три части: левый дом в обход площади будет брать со своей группой Гордиенко, правый дом – тоже в обход – будет брать Парфенов, прямо, через площадь, пойдет он сам...

Командиры молча слушали.

– Вы, – обратился Сабуров к Масленникову, – останетесь в резерве и, когда дойдете до нашего переднего края, остановитесь, расположите всех, кто не уйдет с нами, и будете ждать рассвета. Надо так расположить людей, чтобы к рассвету, как только мы выбьем немцев, вы уже были совсем близко и могли нас поддержать. Поняли, Масленников?

– Понял, – с некоторой горечью сказал Масленников, недовольный тем, что при первом же деле его оставляют в резерве.

За оставшиеся до выступления полчаса Сабуров обошел все три копошившиеся в темноте роты и, вспоминая одного за другим тех, кто с ним воевал еще под Воронежем, вызывал их поочередно, чтобы в этом первом, да еще к тому же ночном бою сразу же приняло уча-

стие как можно больше ветеранов. Если даже он за ночь потеряет много людей, то все-таки он потеряет их еще больше, если не возьмет дома́ до утра и то же самое придется делать, когда рассветет.

Обходя вторую роту, Сабуров вспомнил того солдата, с которым он говорил в Эльтоне. Этот немолодой усатый спокойный дядька, наверное, был когда-то лихим охотником и должен ловко работать в ночном бою.

– Конюков, – позвал он.

– Здесь Конюков! – крикнул над его ухом, неожиданно вырастая, словно из-под земли, солдат.

– Вот и Конюкова включите, – сказал Сабуров Потапову. – Он тоже пойдет.

Через полчаса роты с шедшими впереди отобранными Сабуровым штурмовыми отрядами стали медленно двигаться под дождем вверх по обгоревшим, ядовито пахнувшим дымом улицам.

Назначенный сопровождать батальон Сабурова маленький чернявый старший лейтенант, по фамилии Жук, привел батальон к задним дворам той улицы, фасады которой представляли собой на сегодняшнюю ночь линию фронта. Дальше была широкая площадка, на противоположном краю которой врезанными в нее полуостровами выделялись чуть видимые в темноте три больших здания, занятых немцами. На этом краю площади стояли остатки полка, днем отступившего сюда. Командир полка был убит, комиссар тоже. Полком командовал капитан – командир одного из батальонов, а старший лейтенант, который привел Сабурова, как оказалось, был временно назначен начальником штаба полка. Собственно его миссия сейчас кончалась, но, отведя в сторону командира полка и пошептавшись, он вернулся к Сабурову и сказал, что знает те дома, которые нужно занять, и, если Сабуров не возражает, пойдет с ним туда. Сабуров не возражал, – напротив, он был рад, хотя его несколько удивила такая самоотверженность старшего лейтенанта. Словно почувствовав это, Жук сказал:

– Я вас провожу. Раз отдать сумели, теперь я должен суметь вас довести...

Сабуров наметил места, с которых всем трем атакующим группам предстояло начинать. На себя он взял центр площади. У него было больше всего людей, зато ему и приходилось идти прямо, через всю площадь, на которой единственным укрытием был темневший впереди, отмеченный на плане, круглый фонтан.

Перед началом Сабуров еще раз подозвал к себе Гордиенко и Парфенова. Вытащив из кармана коробку, где лежали четыре заветные папиросы, и оставив одну, чтобы закурить после окончания дела, он молча сунул им в руки по папиросе, а третью стиснул зубами сам. Они присели на корточки, накрылись плащ-палаткой и по очереди прикурили. Затем, прикрывая огонь, потягивая из кулака, все трое поднялись.

Что можно было сказать им? Чтобы они шли вперед? Они это знали. Чтобы они не боялись смерти? Они все равно ее боялись, так же, как и он. Сказать им, что очень нужно взять эти три дома?.. Но если бы это не было очень нужно, разве могли бы люди в крошечной темноте идти навстречу неизвестности и смерти? Конечно, это было очень нужно. И вместо всех этих слов он быстрым движением молча притянул к себе за плечи высокого Гордиенко и маленького, тщедушного Парфенова, притиснул их к себе сразу обоих своими длинными руками и так же молча отпустил их.

Когда они скрылись в темноте, он почему-то подумал не о себе, а о них: увидит ли он их? Увидят ли они его – об этом он не подумал.

Через минуту двинулся со своим отрядом и он сам. Пятьдесят или шестьдесят шагов Сабуров шел по площади молча, от волнения сдерживая дыхание, словно немцы могли его услышать. Потом с немецкой стороны треснули автоматные очереди, наискось по площади прошли первые трассирующие пули, потом вспыхнули одна за другой две маленькие белые ракеты и на несколько секунд осветили кусок площади с выступавшим впереди темным пят-

ном фонтана и с людьми справа и слева от Сабурова, при этой внезапной вспышке сразу прижавшимися к каменной мостовой. Сабуров поднялся и бросился вперед. Сзади, в ответ на немецкие выстрелы, заухали наши минометы и длинными очередями стали бить «максимы». Над головой с обеих сторон шло столько трассирующих пуль сразу, что у Сабурова вдруг мелькнула дикая мысль, что некоторые из них должны столкнуться в воздухе.

Дальше и время и жизнь измерялись уже только метрами...

Сабуров бесконечно вставал, поднимал людей, пробегал несколько шагов и снова падал плашмя на мостовую. Вскоре начали стрелять немецкие минометы. Мины рвались то спереди, то сзади, разворачивая мостовую. Прекратившийся было дождь вдруг снова полил, и раскаты грома перемежались с разрывами мин. Одна мина разорвалась совсем близко. Сабуров бросился вперед, падая, больно ударился и когда в следующую секунду, поднимаясь, ухватился за что-то стоящее впереди, то при блеске внезапно сверкнувшей молнии увидел, что стоит прижавшись к фонтану, обхватив руками каменного ребенка. Голова у ребенка была снесена снарядом, и Сабуров держался за каменные ноги.

Этот большой круглый фонтан, служивший временным укрытием, в то же время неожиданно оказался препятствием. Как ни страшно было тут оставаться, еще страшней было пройти те сто метров, которые отделяли штурмующих от стен самого дома. Люди залегли за стенки фонтана и некоторое время никак не могли решиться двинуться дальше. Сабуров несколько раз выползал вперед за фонтан, вытягивал за собой людей и снова возвращался за остальными. Пулеметные очереди все тесней прижимали их к земле, хотя потеря пока еще почти не было.

– Ишь чиркают, – послышался чей-то голос около Сабурова, когда они, уже в который раз, лежали плашмя. – Ишь чиркают, – тон был такой, будто речь и правда шла о спичке.

Сабуров узнал Конюкова.

– Страшней, чем в ту германскую? – спросил он, поворачивая лицо, но не отрывая головы от земли.

– Нет, – ответил Конюков, – ничего. А проволоки не будет?

– Не должно быть.

– Ну, тогда ничего. А то они, бывало, по двенадцати колов ставили. Уж ее режешь, режешь, – сказал Конюков спокойным голосом человека, только-только собирающегося начать длинный рассказ.

В этот момент ударила мина, и они оба прижались к земле.

– За мной! – крикнул Сабуров, выждав, когда работавший на ощупь немецкий пулемет перенес огонь куда-то левее.

И они снова пробежали несколько шагов.

Так продолжалось еще минут пять. Сабуров со смешанным чувством страха и радости думал о том, что он так, как и хотел, принял удар на себя и что группы Гордиенко и Парфенова тем временем, наверное, уже по балке и задними дворами незаметно подошли к домам с обеих сторон. Все это было бы хорошо, если бы не было так страшно от непрерывного белого, желтого, зеленого ливня трассирующих пуль.

Последние пятьдесят метров никого не пришлось поднимать. Переждав еще одну пулеметную очередь, все рванулись как-то решительно и разом вперед к уже видневшимся стенам домов. Что бы там ни было – немцы, черти, дьяволы, – все равно это было лучше и не страшней, чем эта голая площадь, по которой они до сих пор ползли. Желание, которое, чем ближе к концу, тем больше овладевает чувствами идущего в атаку человека, – желание дотянуться своей рукой до немца, безотчетно подняло их и бросило вперед.

Когда Сабуров подбежал к стене дома, оказалось, что окна первого этажа очень высоки. Тогда его телохранитель Петя подскочил к нему и подсадил его. Сабуров вцепился рукой в

подоконник, с силой швырнул в окно тяжелую противотанковую гранату и сам опять упал вниз, на улицу.

Внутри раздался сильный взрыв. Петя опять подсадил Сабурова. Сабуров сел верхом на подоконник и, в свою очередь, протянул руку Пете. Тот тоже вскочил, опять протянул кому-то руку, и все они втроем или вчетвером ссыпались внутрь дома. Сабуров, по перенятой еще в начале войны от немцев привычке, на всякий случай, не глядя, дал от живота веером очередь из автомата. Кто-то совсем близко вскрикнул, в глубине тоже слышались стоны...

Сабуров на ощупь пересек комнату и, толкнув перед собой дверь, очутился в коридоре. Коридор был глухой, без окон, и в двух концах его – слева и справа – горели не потушенные немцами карбидные светильники. Из двери, расположенной далеко, в том конце коридора, выскочило сразу несколько человек. Сабуров скорее почувствовал, чем понял, что это немцы, и, пригнувшись, дал вдоль коридора длинную автоматную очередь. Несколько бежавших упало, один, спотыкаясь и размахивая руками, добежал до Сабурова и упал плашмя у его ног, а последний, метнувшись от стены к стене, прыгнул мимо Сабурова и столкнулся сзади с кем-то, злоратно крикнувшим по-русски: «Ага, попал!»

Сабуров услышал сзади себя громкую возню и, крикнув на ходу: «Петя, за мной!» – побежал вперед по коридору.

В ближайшие полчаса трудно было в чем-либо разобраться. Бойцы Сабурова и немцы насакивали друг на друга, в упор стреляли из автоматов, дрались, опять стреляли, бросали гранаты. По беспорядочной беготне, по тому, как метались немцы с верхнего этажа вниз и обратно, было ясно, что они испуганы и то, о чем злоратно мечтали бойцы, лежа на площади, – достигнуть врага штыком и рукой, – свершилось.

Постепенно бой перешел во внутренний двор и затих. Немцы или были убиты, или спрятались, или бежали. Их минометы, стоявшие на соседней улице, начали стрелять по дому, из чего следовало, что дом сейчас был снова нашим.

Начинало медленно светать. Сабуров послал связных к Гордиенко и Парфенову, которые, судя по тому, как и откуда стреляли немцы, тоже заняли свои дома слева и справа.

Когда совсем рассвело, наконец объявился старший лейтенант Жук. Он шел прихрамывая, за ним двигались трое бойцов и пятеро немцев со скрученными за спиной руками.

– Вот они... Скажи пожалуйста, в котельной в котел забрались, – с искренним, никогда не покидающим русского человека удивлением перед хитростью немца сказал Жук. – В котел ведь, скажи пожалуйста, – повторил он с видимым удовольствием оттого, что он все-таки нашел этих хитрых немцев.

Сабуров был доволен – и тем, что Жук жив, и тем, что он взял в плен немцев, но ноги его вдруг подкосились от усталости, и, сев на первый подвернувшийся стул, он почти равнодушно сказал, вытирая пот со лба:

– Да, значит, в котел...

– В котел, – с удовольствием в третий раз повторил Жук. – Что прикажете делать с ними, а?

– Вы в полк пойдете к себе? – спросил Сабуров.

– Да.

– Возьмите автоматчиков и сведите их туда, а потом дальше передадите.

– Есть свести к себе, – с радостью сказал Жук, – а автоматчиков не надо, у меня и так не убегут.

Услышав это, Сабуров почувствовал уверенность в том, что немцы действительно от него не убегут, и в то же время некоторую неуверенность – дойдут ли они с ним до штаба.

– Вы их доведете? – спросил он.

– А то как же, доведу... – ответил Жук тем ненатуральным тоном, при помощи которого люди, вообще не умеющие лгать, хотят изобразить в трудных случаях особую правдивость. – Вы теперь тут все хозяйство более или менее уже знаете?

– Более или менее, – ответил Сабуров.

– Ну, я к себе, – сказал Жук. – Прощаться не буду, я еще к вам в гости приду.

– Приходите, – улыбнулся Сабуров. – Я себе пока тут квартиру подыщу.

Жук уже повернулся, но, уходя, добавил:

– Только в нижнем этаже советую, в бельэтаже продует. Как увидят немцы, что в бельэтаже расположились, так все окна вместе со стенкой выбьют, уж это точно.

Сабуров в самом деле выбрал себе для временного командного пункта одну из полуподвальных, впрочем довольно светлых и больших, комнат. Когда он присел и, нахмутив лоб, пытался сообразить, что ему предпринять дальше, ввалился Конюков, волоча за собой пленного – рыжего немолодого немца, примерно его лет и комплекции.

– Словил, товарищ капитан. Словил и вам представляю...

У Конюкова был победоносный вид. Хотя он так же, как и Жук, скрутил пленному немцу руки за спиной, но теперь добродушно похлопал его по плечу. Немец был его добычей, и Конюков относился к нему по-хозяйски, как к своему добру. Сабуров, заметив по лычкам, что это фельдфебель, задал ему на ломаном немецком языке несколько вопросов. Немец ответил хриплым, придушенным голосом.

– Что говорит, а? Что говорит? – два или три раза, перебивая немца, спрашивал Конюков.

– Все, что нужно, говорит, – сказал Сабуров.

– Хрипит... Ишь ты, голос потерял, – удовлетворенно заметил Конюков, сам запыхавшийся от борьбы с немцем. – Это я его маленько придушил. А кто же он теперь по ихним званиям будет?

– Ты до кого в старой армии дослужился?

– До фельдфебеля, – ответил Конюков.

– Вот и он фельдфебель, – сказал Сабуров.

– Значит, так на так, – разочарованно протянул Конюков.

На завоеванной территории постепенно все образовывалось. Пленных набралось одиннадцать человек, и их свели в одну полуподвальную каморку. От Гордиенко из соседнего дома уже протянули телефон. Масленников, как сообщили связные, с остальной частью батальона скоро должен был прийти сюда.

В окнах полуподвала, заваливая их камнями, домашними вещами, чем попало, располагались пулеметчики и автоматчики. За каменной стеной, там, где указал Сабуров, поспешно рыли себе окопы минометчики. О том, чтобы раньше следующей ночи подтащить сюда кухни, нечего было и думать. Сабуров приказал людям расходовать неприкосновенный запас. Наблюдатель, забравшись высоко на чердак, под обгоревшую крышу, сообщил о продвижении немцев по ближайшим улицам.

Гордиенко сказал по телефону, что у него все в порядке, взял четырех пленных и укрепляется, ожидая дальнейших приказаний. Сабуров ответил, что единственное приказание – укрепляться как можно скорей.

Когда наконец протянули провод от Парфенова, Сабуров взял трубку.

– Лейтенант Григорьев слушает, – послышался молодой тонкий голос.

– А где Парфенов?

– Он не может подойти.

– Почему не может?

– Он ранен.

Сабуров положил трубку. Как раз в эту минуту к нему явился запыхавшийся и счастливый Масленников.

– Вот сюда попали, когда шел, – объявил он торжественно, показывая краешек галифе с дыркой от пули.

Сабуров усмехнулся.

– Если это вас так радует – боюсь, что вы тут часто будете ходить веселым. Привели людей?

– Привел.

– Без потерь, надеюсь?

– Трое раненых.

– Ну, это ничего... А у меня только убитых двадцать один, – шепнул он на ухо Масленникову. – Побудьте тут, я сейчас вернусь.

Взяв с собой Петю, Сабуров прошел по нижнему коридору до правого конца здания, вылез через пролом и, прячась между редкими чахлыми деревьями, перебежал к соседнему дому.

Немцы не сразу заметили его, и над его головой просвистело лишь несколько одиноких пуль.

Он застал Парфенова в той же комнате, где у телефона сидел лейтенант Григорьев. Парфенов лежал на полу. Под голову у него были подложены две полевые сумки – своя и чужая. Он истекал кровью. Большой осколок мины разорвал ему живот, и, когда вошел Сабуров, Парфенов только понимающе и грустно посмотрел на него и ничего не сказал.

Сабурову было жалко Парфенова, как всегда особенно жалко бывает людей, погибающих в первой схватке. Этот маленький, худенький человек, прибывший в батальон во время переформирования и до смешного не умевший приказывать и повелевать, сейчас так мужественно и спокойно вел себя, так просто, не жалуясь, не говоря ни слова, умирал, что Сабурову невольно захотелось оказаться поближе к нему и сказать что-то самое хорошее. Сабуров сел на корточки и, поправив на лбу Парфенова слипшиеся мокрые волосы, спросил:

– Ну что, как, а, Парфеныч?

Парфенов, видимо, боялся заговорить, потому что тогда ему пришлось бы разжать зубы, а если бы ему пришлось разжать зубы, он закричал бы от боли. Он не ответил, только открыл и снова закрыл глаза, будто сказал: «Ничего...»

Сабуров, видя, как он умирает, не то что подумал, а с полной ясностью представил себе, как этот маленький человек только что, не крича, не говоря ни слова, бежал, наверное, впереди всех. Не наверное, а непременно бежал на немцев, не сгибаясь, первым.

– Ничего, Парфеныч, ничего, – повторил Сабуров бессмысленно ласковые слова и, нагнувшись еще ниже, поцеловал Парфенова в плотно стиснутые губы.

V

После двухчасового затишья с рассветом начался бой, который не прекращался четверо суток. Начался он с бомбежки, долгой и беспощадной. Вместе с «Юнкерсами-88» позицию батальона бомбили и «Юнкерсы-87» – те самые пикирующие бомбардировщики с воющими бомбами, о которых так много говорили еще во время немецкого вторжения во Францию. На самом деле никаких воющих бомб не было: просто под плоскостями самолетов были устроены приспособления, которые издавали страшный вой, когда «юнкерсы» пикировали. В сущности, это была нехитрая выдумка, повторявшая трещотки и пищалки на воздушных змеях.

К удивлению Сабурова, Конюков, так решительно действовавший ночью, перетрусил во время бомбежки и лежал на земле ничком, как убитый, не поднимая головы.

– Конюков! – окликнул Сабуров, подходя к нему. – Конюков!

Конюков опасливо поднял голову, увидел капитана, неожиданно вскочил, схватил его за плечо и повалил рядом с собой.

– Ложитесь! – закричал он не своим голосом.

Сабуров с трудом оторвал его руку от своего плеча и сел рядом с ним.

– Что «ложитесь»?

– Ложитесь, – повторил Конюков, снова пытаясь вцепиться в него и повалить на землю.

И Сабуров понял, что только вьевавшаяся в плоть и кровь солдатская дисциплина в соединении с привычкой беречь командира заставила смертельно испуганного Конюкова вскочить с земли для того, чтобы заставить его, Сабурова, лечь рядом с собой.

– Так и будешь лежать все время?

– Как прикажете, товарищ капитан.

– Да что ж прикажу... Лежи, терпи, только зачем время терять... Бомбят – приляг, улетели – поднимись...

– Боязно, товарищ капитан. Вы не думайте – я обтерплюсь, а то ведь страшно как-то.

Именно эта искренность убедила Сабурова, что Конюков действительно не нынче-завтра обтерпится.

Перед полуднем по телефону позвонил Бабченко.

– Я у тебя не буду, – сказал он, – я в другое хозяйство схожу. К тебе, наверное, хозяин придет, так что смотри...

И он положил трубку.

Хозяином, как водится, в дивизии называли Проценко. «Смотри» означало, что Сабуров должен проявить характер и постараться не пустить хозяина в самые опасные места, куда тот будет лезть.

И в самом деле, вскоре пришел Проценко со своим адъютантом и автоматчиком. После того как Сабуров отрапортовал ему, он, по обыкновению, спросил:

– Как здоровье, Алексей Иванович? – и протянул левую, здоровую руку. Правая после ранения у него все еще не работала, и он во время разговора шевелил пальцами, пробуя этим восстановить кровообращение и заменить предписанный врачами массаж. – Добре, добре, – прохаживаясь, говорил Проценко и оценивающим взглядом окидывал потолок. – Пятьсот килограммов придется фрыцу, – он говорил «фриц» на «ы», с украинским акцентом, – пятьсот килограммов придется фрыцу на тебя потратить, если ты ему не понравись. А если пятьсот потратить пожалеет, так ничего и не будет.

Проценко облазил с Сабуровым пулеметные точки, потом подошел с ним вместе к каменной стене, за которой отрыли себе окопы и расположились минометчики. Он недо-

вольно посмотрел на мелкие, небрежно вырытые щели и, обращаясь в пространство, как будто не замечая тут же находившихся минометчиков, сказал:

– Как ты думаешь, Алексей Иванович, кто на войне нас убивает? Ты мне скажешь: немец... А я тебе скажу – не только немец, а еще и лень.

Он повернулся к минометчикам и спросил сразу ставшего перед ним навытяжку сержанта:

– Птицу страуса знаешь?

– Так точно.

– А чем он на тебя похож, знаешь? Не знаешь. Так он тем на тебя похож, что так же, как и ты, прячется: голову спрячет, а задница наружу, и думает, что весь спрятался. Ложись! – вдруг пронзительным голосом закричал Проценко.

– Что? – не поняв, переспросил сержант.

– Ложись! Вот я – мина. Ложись в свой окоп, пока живой...

Сержант с размаху бросился в свой маленький окопчик, в котором, как и предсказал Проценко, он весь не уместился.

– Ну вот, – сказал Проценко, – голова, правда, цела, а ползадницы отстрелили. Нету. Встать! – опять резко крикнул он.

Сержант встал, смущенно улыбаясь.

– Отдай приказание, – сказал Проценко Сабурову и, повернувшись, пошел дальше.

Сабуров, задержавшись, приказал отрыть глубокие окопы и бросился догонять Проценко.

У каменной стены лежали двое пулеметчиков. Они постарались спрятаться поглубже за стенку, и действительно спрятались так глубоко, что дуло их пулемета глядело чуть ли не в небо. Проценко, подойдя, лег за пулемет, проверил прицел и потом, стряхивая с колен каменную пыль, встал.

– Охотник? – спросил он немолодого рябоватого сержанта, первого номера пулемета.

– Да случалось, товарищ полковник, – настроившись на душевный разговор с начальством, с готовностью сказал тот.

– Вот я и вижу, что ты охотник, – сказал Проценко. – Уток тут бить собираешься, пулемет в небо уставил... Хорошо уставил, как раз на взлете их бить, – мечтательно и в то же время иронически добавил он. – Жаль только, что немцы все больше по земле ходят, а то бы, ничего не скажешь, хорошо устроился...

И он, повернувшись, все той же неторопливой походкой пошел дальше. Первый номер проводил его смущенным взглядом и набросился на второго номера:

– Я же тебе говорил: куда дуло глядит – в небо... Куда пулемет поставил, а?

– Да вы что ж, – растерянно оправдывался второй номер. – Я же, как вы...

– Мало ли что я. А ты, как второй номер, должен вместе со мной позицию выбирать...

Окончания их спора Сабуров не расслышал. Проценко шел дальше и, все пошевеливая пальцами раненой руки так, словно барабанил по воздуху какую-то мелодию, говорил, не обращаясь к Сабурову, опять в пространство, что было у него признаком дурного настроения:

– Командир дивизии устанавливает, куда пулемет должен глядеть – в небо или на землю... Очень хорошо. Для этого его в Академии генерального штаба учили... И когда вы у меня краснеть научитесь? – резко повернувшись, крикнул он Сабурову. – Когда я вас краснеть научу?

Сабуров молчал. Полковник был прав, и, даже если бы позволял устав, возразить было нечего.

– Вот когда у нас командиры дивизий перестанут пулеметы устанавливать и когда вы у меня краснеть научитесь, вот тогда мы выиграем войну, а раньше ни за что не выиграем, – так ты и знай...

Только что успели они оба вернуться в штабной подвал, как немцы начали перед атакой артиллерийскую и минометную подготовку.

– В общем, зацепился ты ничего, зацепился так, что удержишь, – заключил Проценко, наклонив немного голову набок и прислушиваясь к разрывам. – Удержишься, но людей учить надо... День и ночь надо учить... Потому что если ты его сегодня не научишь, то завтра его убьют, и не просто убьют – просто убьют, ну и что же, на то и война, – а задаром убьют, вот что печально. Где у тебя наблюдательный пункт?

– На четвертом этаже под крышей.

– Ну-ка, слазай, как там... А тут скажи, чтоб мне пока закусить чего-нибудь дали.

Сабуров на ходу шепнул Пете, чтобы тот накормил полковника, и полез на четвертый этаж. Оттуда, из широкого трехстворчатого окна, выходившего на обгорелый балкон, было видно почти все происходящее впереди. На соседней улице от дома к дому, от палисадника к палисаднику перебегали немцы. Снаряды вздымали столбы земли у самого дома, иные из них с грохотом попадали в стены, и тогда весь дом содрогался, словно его качало большой волной.

Сабуров заметил, что больше всего мелькания и суеты у немцев было против правого дома – там, где теперь сидел вместо убитого Парфенова Масленников. Сабуров сбежал по лестнице в подвал и позвонил по телефону сначала Масленникову, а потом Гордиенко, предупреждая их о готовящейся атаке. Оба они ответили, что наблюдают сами и к бою готовы.

Проценко, без крайней нужды не любивший вмешиваться в распоряжения своих подчиненных, сидел в подвале и спокойно грыз черный сухарь, положив на него кусок сухой колбасы. Когда под гул все продолжавшихся минных разрывов началась немецкая атака, Проценко, несмотря на уговоры Сабурова, сам поднялся с ним на наблюдательный пункт. Там они стояли примерно час. Сабуров нервничал: ему хотелось увести Проценко куда-нибудь вниз. Когда тяжелый снаряд, пробив стену, разорвался в соседней комнате и оттуда через пролом посыпались куски кирпича и штукатурка, он дернул полковника за руку и хотел стащить вниз. Но Проценко освободил руку, посмотрел на него и вместо полагающегося в таких случаях начальнического окрика сказал только:

– Сколько мы с тобой воюем? Второй год? Так что ж ты меня за руку тянешь?.. – И, считая разговор законченным, сняв фуражку, стал щелчками аккуратно сбивать с нее известковую пыль.

Когда немцы отступили после первой неудачной атаки и Сабуров с Проценко стали спускаться с наблюдательного пункта, запоздалый снаряд ударил как раз в лестничную клетку на этаж ниже их. Взрывом был начисто выдран целый пролет лестницы, и им пришлось спускаться, цепляясь за вывернутые балки и остатки перил.

– Понимаешь теперь, что нельзя начальство торопить? – язвил Проценко. – Поторопил бы, как раз и подставил бы меня под эту дулю. Тебе что Бабченко говорил: «Хозяин будет, имей в виду...» – вдруг смешно скопировал он Бабченко. – А ты меня под дулю чуть не подвел...

Проценко ушел от Сабурова в час затишья, между первой и второй атаками немцев.

– Ничего, бувай здоровенький, – сказал он Сабурову на прощанье. И добавил конфиденциально: – Вот когда научусь лучше воевать, то в батальоны ходить перестану, пусть командиры полков ходят, а я только до штаба полка ходить стану... Но к тебе по старому знакомству буду заглядывать. Кто вместе под Воронежем был, то все равно что вместе детей крестили. Как к куму заходить буду.

Он повернулся и вышел, как всегда немножко прихрамывая и барабанил по воздуху пальцами.

Перед вечером немцы еще раз пошли в атаку, но были отбиты. Когда начало темнеть, Петя принес Сабурову котелок вареной картошки.

– Где достал? – удивился Сабуров.

– Здесь, поблизости, – сказал Петя.

– А где же все-таки?

– Да так, поблизости, – скрытничая, повторил Петя.

Пока Сабуров, которому хотелось есть и некогда было объясняться, уплетал за обе щеки картошку, Петя стоял над ним в позе матери.

– А где же ты все-таки ее добыл? – уже сытым, разморенным голосом спросил Сабуров.

На лице Пети изобразилась душевная борьба. С одной стороны, нужно было ответить на вопрос, с другой стороны, ему хотелось удержать перед капитаном в тайне вновь открытую им базу снабжения. Сабуров посмотрел в его каменное лицо и улыбнулся.

Петя отличался храбростью, заботливостью и веселым нравом – тремя главными качествами, которых можно пожелать в ординарце. До войны он работал агентом по снабжению на одном из московских заводов. Эту работу он полюбил еще во времена первой пятилетки. Достать неведомо как, неведомо где то, чего никто не мог достать, – в этом была для него особая прелесть. Он доставал двутавровые балки в Ялте, виноград в Костроме и строевой лес в Каракумах. Он делал заведомо невозможное, и это его привлекало. Он ничего не искал и не устраивал лично для себя, но для того, чтобы достать материалы, нужные заводу, на котором он работал, он был готов на все. Его ненавидели конкуренты и ценили начальники. На войне, попав ординарцем к Сабурову, он, кроме храбрости перед лицом неприятеля, обнаружил неимоверное мужество перед лицом всяческих трудностей военного снабжения. Когда в батальоне нечего было есть, Сабуров отправлял на поиски еды Петю, и Петя всегда что-нибудь находил... Когда нечего было курить, Петя находил и курево. Когда нечего было пить, Петя всегда отыскивал хоть небольшую толику водки, и так быстро, что Сабуров подозревал, что у него имеется тайный неприкосновенный запас.

У Пети был только один недостаток: даже когда он не совершал ничего незаконного, он все равно любил покрывать свои успехи дымкой таинственности и очень огорчался, когда Сабуров или кто-нибудь другой задавали ему вопросы.

– Так где же ты все-таки достал? – повторил Сабуров, и Петя, чувствуя, что ему не отвертеться, решил признаться.

– Здесь, – ответил он. – Там во дворе флигелек, под флигельком подвал, а в этом подвале гражданка...

– Какая гражданка? – поднял брови Сабуров.

– Сталинградская гражданка, здесь и жила во флигельке. Муж убитый. С троими детьми в подвал залезла и сидит... У нее там всего – картошки, морковки и прочего... чтоб с голоду не помереть. И даже коза у нее в подвале, только, говорит, от темноты доиться перестала. Я говорю: «Командир мой картошку уважает». Она без звука котелок наварила, говорит: «Когда нужно, пожалуйста», и даже сала дала... Вот вы ж не замечаете, а, между прочим, с салом картошку кушаете, – с огорчением добавил Петя.

Сабуров, удивленный тем, что среди этих развалин вдруг оказалась женщина с детьми, быстро поднялся, нахлобучил фуражку и обратился к Пете:

– Веди, где она?

Они пошли коридорами, пригнувшись, пробежали простреливаемое место до флигелька, и там действительно среди развалившихся стен Сабуров увидел обложенное камнями и досками подобие двери. По самодельной лестнице из нескольких ступенек они спустились

вниз. Это был большой подвал, видимо во время войны еще расширенный. Поставленная на прикрытую досками бочку, в углу горела коптилка.

Около бочки на корточках сидела еще не старая, с измученным лицом женщина и указывала ребенка. Две девочки, на вид лет восьми и десяти, сидели рядом с ней и остановившимися от любопытства глазами смотрели на вошедших.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, – ответила женщина.

– Почему вы здесь остались? – спросил Сабуров.

– А куда же нам идти?

– Да ведь здесь были немцы?

– А мы сверху завалились всем, – спокойно пояснила женщина, – так что и не видно.

– Завалились... Так задохнуться можно было.

– А все равно, если немцы...

– Сегодня уже поздно, – сказал Сабуров. – Завтра подумаю, как вас отправить отсюда.

– А я не пойду.

– Как не пойдете?

– Не пойду, – упрямо повторила она. – Куда я пойду?

– На ту сторону, за Волгу.

– Не пойду. С ними? – указала женщина рукой на детей. – Одна бы пошла, с ними не пойду. Сама жива буду, а их поморю, помрут там, за Волгой. Помрут, – убежденно повторила женщина.

– А здесь?

– Не знаю. Снесла сюда все, что было. Может, на месяц, может, на два хватит, а там, может, вы немца отобьете. А если идти – помрут.

– Ну а вдруг бомба или снаряд, об этом вы подумали? – сказал Сабуров, уже не пытаюсь ее убедить, но все ещё будучи не в состоянии примириться с мыслью, что здесь, рядом с ним и его солдатами, продолжает жить женщина с тремя детьми.

– Что ж, – спокойно отвечала женщина, – попадет, так уж всех сразу – и меня и их, один конец.

Сабуров не знал, что ей сказать. Наступило долгое молчание.

– А если что сготовить, так я сготовлю, кушайте. У меня картошки много... Пусть он скажет, если надо, – кивнула она на Петю. – Я и щи сварю, только без мяса... А то козу зарежу, – после паузы добавила она. – Зарежу, тогда можно и с мясом.

Она почувствовала по глазам Сабурова, что он понял ее и не будет настаивать, чтобы она ушла, и если она сейчас говорила о том, что сготовит и сварит, то не ради того, чтобы ее оставили здесь и не трогали, а просто по исконной жалости русской женщины. Надо им сготовить, этим солдатам (в чинах она не разбиралась), покуда они здесь, хотя бы щей, а уж коли щи варить, то и козу не жалко зарезать – на что она теперь, коза? Все равно не доится.

Сабуров вышел на воздух и, посмотрев на развалины, еще раз подумал так же, как тогда, в Эльтоне: «Куда загнали, а?» Впереди были немцы. Он оглянулся на свой изрешеченный, избитый осколками дом.

«А вот это мы...»

И он спокойно подумал, что никуда не уйдет из этого дома.

Ночь прошла в беспрерывной перестрелке.

С рассветом немцы пошли в третью атаку. Им не удалось продвинуться прямо против домов, которые занимал Сабуров, но справа и слева от него они прорвались по окраинам площади. В девять часов утра он услышал по телефону, как всегда, глуховатый, ворчливый голос Бабченко:

– Ну как там, держишься?

– Держусь.

– Держись, держись. Я скоро к тебе сам приду.

Эти слова были последними, услышанными им по телефону. Через минуту связь оборвалась, и хотя он не любил ни самого Бабченко, ни его ворчливого голоса, но все следующие трое суток, когда не было никакой связи ни с кем, он все вспоминал эти слова, и они помогали ему верить, что он не один, что еще будет и телефон, и Бабченко, и дивизия, и все вообще.

Связь была оборвана. Бабченко, конечно, к нему не дошел: немцы заняли сзади всю площадь и дома кругом нее, и Сабуров вместе со всем батальоном попал в обстановку, которая в бесконечно разнообразных ее видах на войне называется общим словом «окружение». Ему предстояло сидеть здесь, не пускать сюда немцев и ждать – либо того, что к нему прорвутся и помогут, либо того, что у них выйдут последние мины и последние патроны и им останется умереть. И хотя иногда он сам склонен был думать, что случится второе и что мины и патроны у них кончатся раньше, чем придут на помощь свои, но всем, кто был вокруг него, – и командирам и бойцам – он старался внушить обратное. И так как они знали только то, сколько у них у самих патронов в подсумке и мин в ящике, им казалось, что у него, у капитана, есть еще запас. А он знал, что этого запаса нет и не будет. И от этого ему было труднее, чем всем остальным.

Он учил стрелять наверняка, только наверняка. Он отобрал патроны у большинства бойцов, скопив их только у отличных стрелков. У остальных он оставил лишь гранаты на случай боя с прорвавшимися немцами уже в самом доме. До этого за трое суток доходило только дважды – немцев удалось отразить оба раза. У стены, на дворе, прямо перед выбитыми окнами дома, лежали в разных позах мертвые немцы. Их никто не убирал – не было ни времени, ни сил, ни желания...

На третий день в подвале, где расположился Сабуров, разорвался пробивший стену снаряд. По странной случайности никого не убило: Петя вышел, а Сабуров, который на минуту прилег на койку, от удара только свалился с нее и, поднявшись, заметил, что вся стена над его головой была словно в кровавых пятнах – это отбитая в сотне мест штукатурка обнажила кирпичи.

Пришлось перебраться в чудом сохранившуюся квартиру первого этажа, куда еще два дня назад просил его перебраться Петя. То, что квартира сохранилась среди общего разгрома, внушало суеверную мысль, что, быть может, в нее так и не попадет ни один снаряд.

На четвертый день, когда все тряслось и дрожало от артиллерийской канонады, в комнату тихо вошла женщина и поставила на стол глиняную миску.

– Вот щи сварила, попробуйте, – сказала женщина.

– Спасибо.

– Если понравятся, еще принесу.

Сабуров посмотрел на нее и ничего не ответил. Все это было странно, почти невероятно – блиндаж с тремя детьми, женщина, сварившая щи... И в то же время было в этом невероятное спокойствие – то самое, с которым бронебойщик, берясь за свое противотанковое ружье, вместо того чтобы бросить и примять сапогом сигарку, кладет ее в окопе на земляную полочку, с тем чтобы докурить потом, когда кончится... Что-то такое же было и в этой женщине, в том, как она пришла...

– Спасибо, спасибо, – повторил Сабуров, видя, что она продолжает молча стоять, и, вдруг поняв, чего она ждет, вытащил из-за голенища ложку.

– Хорошие щи, вкусные, – похвалил он, – очень вкусные... Вы идите, а то сейчас стрелять начнут.

Ночью, воспользовавшись темнотой, к Сабурову добрался Масленников, и Сабуров с трудом узнал его – таким тот был небритым и вдруг странно повзрослевшим. Глядя на

Масленникова, Сабуров подумал, что, наверное, он и сам переменялся за эти дни. Он очень устал, не столько от постоянного чувства опасности, сколько от той ответственности, которая легла на его плечи. Он не знал, что происходило южнее и севернее, хотя, судя по канонаде, кругом повсюду шел бой, – но одно он твердо знал и еще тверже чувствовал: эти три дома, разломанные окна, разбитые квартиры, он, его солдаты, убитые и живые, женщина с тремя детьми в подвале, – все это, вместе взятое, была Россия, и он, Сабуров, защищал ее. Если он умрет или сдастся, то этот кусочек перестанет быть Россией и станет немецкой землей, а этого он не мог себе представить.

Всю четвертую, последнюю, ночь слева и справа гремела отчаянная канонада. На двор и прямо в дома залетали снаряды, и немецкие и наши, и к утру наши, пожалуй, даже чаще, чем немецкие. Сабуров сначала не верил, потом верил, потом опять не верил и только уже к рассвету подумал, что иначе не может быть и что к нему пробиваются свои.

С рассветом во двор левого крайнего дома ворвались наши автоматчики, потные, грязные, яростные. Они гнались за немцами, им казалось, что и здесь тоже немцы. Было трудно, почти невозможно удержать их и не дать им бежать дальше по этим коридорам и подвалам дома в поисках немцев.

Одним из первых, кого увидел и обнял Сабуров, был Бабченко, такой надоедливый, грубый и придиричивый, такой усталый, обросший, долгожданный Бабченко, с повешенным на шею автоматом, с руками и коленками, измазанными в грязи и известке.

– Я ж тебе обещал по телефону, что скоро приду, – сказал, почти крикнул Бабченко.

Все еще непривычно улыбаясь, Бабченко два раза пересек комнату, сел за стол и наконец, вернув своему лицу обычное скучное и недовольное выражение, спросил прежним своим тоном:

– Сколько потерь?

– Пятьдесят три убитых, сто сорок пять раненых, – ответил Сабуров.

– Не бережешь людей, – сказал Бабченко, – не бережешь, мало бережешь. А так ничего, держался хорошо. Скажи, чтобы мне воды дали.

Сабуров повернулся к Пете и сказал насчет воды, но когда он обернулся снова, то оказалось, что вода подполковнику уже не нужна: привалившись на край стола и уронив голову на неловко торчавший из-под руки диск автомата, он спал. Наверное, он не спал все эти дни, так же как и Сабуров. Сабуров подумал об этом и вдруг, вспомнив о себе и обо всех этих четырех днях, почувствовал ломившую кисти усталость. Чтобы не свалиться у стола, так же как Бабченко, он встал, прислонившись к стене, и с трудом вытащил из кармана свои большие часы. На них было 9.15 – прошло ровно четверо суток и семь часов с тех пор, как он, посаженный Петей через проломанное окно, вслед за брошенной гранатой вскочил в этот дом.

VI

К тем четырем суткам боев, которые Сабуров отсчитал в счастливую минуту соединения с Бабченко, с удивительной быстротой прибавилось еще четверо суток, наполненных визгом пикировщиков, ударами снарядов и сухой автоматной трескотней немецких атак. Только на девятые сутки наступило какое-то подобие затишья.

Сабуров лег вскоре после наступления темноты, но через три часа его разбудил звонок. Бабченко, не любивший, чтобы подчиненные спали тогда, когда он сам не спит, потребовал у дежурного, чтобы тот разбудил Сабурова.

Сабуров встал с дивана и подошел к телефону.

– Спите? – глухим, далеким голосом спросил в телефон Бабченко.

– Да.

– Спите, а у вас все в порядке?

– Все в порядке, – ответил Сабуров, чувствуя, что с каждой секундой этого злившего его разговора с него все больше соскакивает сон.

– Меры на случай ночной атаки приняли?

– Принял.

– Ну, тогда спите.

И Бабченко положил трубку.

По тому, как Сабуров вздохнул, Масленников, тоже проснувшийся и сидевший на кровати против него, мог примерно представить, какого содержания был разговор.

– Подполковник? – спросил Масленников.

Сабуров молча кивнул и попробовал снова лечь и заснуть. Но, как это часто бывает в дни особенной усталости, сон уже не возвращался. Полежав несколько минут, Сабуров спустил босые ноги на пол, закурил и впервые внимательно оглядел комнату, в которой уже несколько дней помещался его штаб.

На клеенке, покрывавшей стол, остались два свежепрожженных круга – один побольше, очевидно от сковородки, другой поменьше – от кофейника. Вероятно, хозяин квартиры уехал отсюда, предварительно отправив семью, и последние несколько дней вел непривычный для себя холостяцкий образ жизни. У шкафа воздушной волной были выбиты стеклянные дверцы, и он ничего не мог сказать о хозяевах, потому что из него все было вынуто. Зато на письменном столе были многочисленные следы жизни всей семьи. Спицы с начатым вязанием, кипа технических журналов, несколько растрепанных томиков Чехова, старые, замусоленные учебники третьего класса и аккуратная стопка новых учебников четвертого... Потом Сабурову попались на глаза детские тетради по русскому языку. Он с профессиональным любопытством человека, который когда-то готовил себя к педагогической карьере, стал перелистывать эти тетрадки. На первой странице одной из них начиналось сочинение: «Как мы были на мельнице». «Вчера мы были на мельнице. Мы смотрели, как мелют муку...» В слове «мелют» «ю» было зачеркнуто, поставлено «я», снова зачеркнуто и восстановлено «ю». «Сначала зерно везут на элеватор, потом с элеватора транспортер везет его на мельницу, потом...»

Закрыв тетрадку, Сабуров вспомнил, как еще с левого берега Волги он видел огромный плававший элеватор, может быть, тот самый, о котором прочел сейчас в этой ученической тетрадке.

Масленников, сидевший напротив, свесив ноги, в той же позе, что и Сабуров, тоже дотянулся до тетрадок, медленно перелистал их и заговорил о своем детстве. В разговорах с Сабуровым, со времени их знакомства, он возвращался к этой теме несколько раз, и сейчас

Сабуров почувствовал, что Масленников не столько хочет ему рассказать о своем детстве, сколько хочет наконец вызвать его самого на разговор о прошлом.

Сабуров не принадлежал к числу людей, молчаливых от угрюмости или из принципа; он просто мало говорил: и потому, что почти всегда был занят службой, и потому, что любил, думая, оставаться со своими мыслями наедине, и еще потому, что, попав в компанию, предпочитал слушать других, в глубине души считая, что повесть его жизни не представляет особого интереса для других людей.

Так и сейчас он предпочитал молча слушать Масленникова, то вдумываясь в его слова, то отдаваясь собственным мыслям и неторопливо перебирая лежавшие на столе вещи.

Второй ребенок в квартире, очевидно, был совсем маленький. На столе валялось несколько листиков, вырванных из тетрадки, исчерченных красным и синим карандашом. На рисунках были изображены кособокие дома, горящие фашистские танки, падающие с черным дымом фашистские самолеты и надо всем маленький, нарисованный красным карандашом наш истребитель. Это было исконное детское представление о войне – мы только стреляли, а фашисты только взрывались.

Впрочем, как ни горько было вспоминать ошибки прошлого, Сабуров невольно подумал, что перед войной слишком многие взрослые люди были недалеко от такого именно представления о ней.

Война... Последнее время он, вспоминая свою жизнь, невольно приводил ее всю к этому единственному знаменателю и задним числом делил свои довоенные жизненные поступки на плохие и хорошие не вообще, а применительно к войне. Одни житейские привычки и склонности сейчас, когда он воевал, мешали ему, другие – помогали. Вторых было больше, должно быть потому, что люди, подобно ему начавшие самостоятельную жизнь в годы первой пятилетки, прошли такую тяжелую школу жизни, полную самоотверженности и самоограничений, что война, если исключить постоянную возможность смерти, не могла паразитировать их своими повседневными тяготами.

Так же как и многие его сверстники, Сабуров начал работать мальчишкой, метался со строительства на строительство, несколько раз принимался учиться и опять, сначала по комсомольским, а потом по партийным мобилизациям, не доучившись, уезжал работать. Когда подошел его срок, он два года прослужил на действительной в армии, приехал оттуда младшим лейтенантом и, возвратясь к своей профессии строительного прораба, снова стал дневать и ночевать в котлованах и на лесах Магнитогорска.

Годы пятилеток увлекли его, как и многих других, своей строительной горячкой и, спутав все карты, толкнули совсем не к той профессии, о которой он мечтал с детства. И все-таки, как и многие другие, он в конце концов нашел в себе силы отказаться от привычной работы, заработка, быта и уже далеко не мальчиком сменить все это на студенческую скамью и койку в общежитии.

За год до войны он приехал в Москву и поступил на исторический факультет. В июне 1941 года он сдал свои первые университетские экзамены, а через несколько дней услышал речь Молотова. Случилось то, чего все ждали и во что где-то в глубине души все-таки до конца не верили. Началась война, которая через год и три месяца привела его, человека, когда-то хотевшего стать учителем истории, три раза выходившего из окружения, два раза награжденного и пять раз раненного и контуженного, сюда, в Сталинград. Привела в эту комнату, которая, быть может, и могла бы на минуту напомнить ему о мире, если бы на украшенной домашними вышивками плюшевой спинке дивана не висел автомат.

Было далеко за полночь. Сабуров, рассеянно слушавший рассказы Масленникова о его жизни и невольно вспоминаявший свою, медленно свернул самокрутку, вложил в мундштук и закурил. Масленников, замолкнув, неподвижно сидел против него. Так они сидели оба и молчали, может быть, пять, может быть, десять минут. Потом Масленников опять заговорил,

на этот раз о любви. Сначала он с мальчишеской серьезностью рассказывал о своих школьных увлечениях, потом заговорил о любви вообще и кончил тем, что неожиданно спросил у Сабурова:

– Ну, а у вас любовь?

– Что любовь?

– Любви разве у вас не было?

– Любви? – Сабуров затянулся и закрыл глаза. Любви... разве в самом деле ее не было в его жизни?

Он вспомнил нескольких женщин, которые мимоходом прошли через его жизнь так же, как, очевидно, он прошел мимоходом через их жизнь. В этом отношении они, наверное, были квиты: он ни в ком не разочаровался и никого не обидел. Может быть, это было нехорошо, кто знает. Пожалуй, скорее всего это выходило так – легко и коротко – не потому, что ему не хотелось любви, а именно потому, что слишком хотелось ее. И те, с кем выпало ему встретиться, и то, как это вышло, было так непохоже на любовь, как он ее представлял себе, что он и не старался сделать это похожим на нее. Впрочем, во всех этих подробностях можно было признаться только самому себе, и когда Масленников после долгого молчания переспросил: «Неужели не было любви?» – он сказал: «Не знаю, не знаю, должно быть, не было...»

Он встал с дивана и несколько раз пересек комнату.

«Нет, не может быть, чтобы ее не было, – подумал он, – вернее может быть, что ее не было, но не может быть, что ее не будет».

И вдруг вспомнил слова девушки на пароходе, что она больше боится смерти оттого, что у нее не было любви, а он не должен бояться, потому что он взрослый и у него, наверное, уже все было.

«Нет, не все, – подумал он. – Не все. Боже мой, как много и как мало все-таки всего было и как, наверное, скучно и невозможно жить человеку, которому хоть на минуту покажется, что у него уже все было...»

Он еще раз пересек комнату и, подойдя вплотную к Масленникову, положил руку на его плечо.

– Слушай, Миша, – сказал он, не столько собираясь ответить ему, сколько отвечая своим собственным мыслям. – Слушай, Миша. Нам с тобой никак нельзя умирать. Ну никак, просто никак...

– Почему?

– Не знаю. Знаю только, что нельзя.

Вошедший связной сказал только одно слово: «Атакуют». Сабуров сел на диван, наспех подвернул портянки, натянул сапоги и сразу же, привычным жестом попадая в рукава, надел поверх гимнастерки шинель.

– Вот поспать и не успели, – сказал он Масленникову, застегивая ремень.

И Масленников почувствовал в словах капитана грустную и добрую иронию надо всем, что только что вспоминалось и что все-таки так мало значило сейчас перед одним коротким, но сразу заполнившим всю их жизнь словом: «атакуют».

VII

Сабуров, вернувшийся к себе после того, как известие о немецкой атаке на этот раз оказалось ложной тревогой, так и не лег. Было пять часов утра – самый тихий час суток. Сабуров подошел к выломанной и занавешенной плащ-палаткой двери в коридор. Он хотел позвать Петю, чтобы тот приготовил чего-нибудь поесть. Откинув плащ-палатку, он остановился. Не замечая его, Петя и дежурный связист сидели рядом на полу и разговаривали.

– Спрашиваешь, когда эта война кончится? – говорил Петя. – Как немца добьем, так и кончится, а когда добьем – кто его знает...

– Ох и далеко ж их гнать... – Связной пустил дым колечками и посмотрел в потолок. – Далекое, – добавил он с выражением полной уверенности, что это именно так и будет. Видимо, его огорчало только расстояние до границы.

Не желая, чтоб вышло, что он невольно подслушал их разговор, Сабуров опустил плащ-палатку, вернулся, сел за стол и громко крикнул Петю. Петя немедленно появился в дверях.

– Что-нибудь позавтракать сообрази.

– Есть сообразить, – отозвался Петя, и за плащ-палаткой стало слышно, как он возится, погромыхая котелками и консервными банками.

– Как раненные у нас? Все наконец вывезены? – спросил после молчания Сабуров у Масленникова.

– Вечером оставалось еще восемнадцать человек, – сказал Масленников. – Бомбежка – не осколком, так камнем, не камнем, так стеклом.

– Да, в открытом поле лучше, – согласился Сабуров.

Он досадливо поморщился, и на его лице появилось злое выражение.

– А ведь, между прочим, вокруг Сталинграда обвод был, – заметил он.

– Я знаю, мне говорили...

– Там километрах в пятнадцати от города и рвов накопано, и окопов, и дзотов, и бетонных колпаков наставлено. Масса народу, говорят, день и ночь работало, а драться там так и не дрались.

– А почему?

– Если бы ты знал, Миша, – с грустью сказал Сабуров, – сколько я за год войны видел зря нарытых окопов и рвов. Миллионы кубометров земли от самой границы и досюда зря вырыты. А почему? Потому что часто выроем позади себя линию, а войска не сажаем туда заранее, ни орудий не ставим, ни пулеметов – ничего. По старинке думаем: отойдем и займем, а немцы – раз! – и обошли и раньше нас там оказались... А окоп без человека – мертвое дело... Так и идут эти укрепления сплошь и рядом коту под хвост. А мы потом дойдем до города, упремся в него спиной, выроем новые окопы не за три месяца, а за три дня, как попало, и в них деремся до конца, до смерти. Тяжело и обидно... Да, так, значит, восемнадцать раненых к вечеру осталось, – вернулся он к первоначальной теме разговора. – Ну-ка справься, как их теперь, уже вывезли или нет.

Масленников вышел. Сабуров достал нож и поправил им фитиль в самодельной лампе «катюше». Лампа представляла собой гильзу от 76-миллиметрового снаряда, наверху она была сплюснута, внутрь был просунут фитиль, а немножко выше середины была прорезана дырка, заткнутая пробкой, – через нее заливали керосин или, за неимением его, бензин с солью.

Поправив фитиль, Сабуров несколько раз лениво ткнул вилкой в только что принесенную Петей сковородку с поджаренными мясными консервами. Есть не хотелось. С чего бы это? Впрочем, может, оттого, что всего шестой час утра, – в сущности говоря, необеден-

ное время. Часы путались. Сабурову захотелось выйти на воздух. Он уже накинул на плечи шинель, когда вернулся Масленников.

– Всех за ночь вывезли. А знаете, кто за ранеными приехал? – сказал Масленников. – Та девушка, которую вы из воды вытащили, она приехала.

– Ну? – спросил Сабуров.

– Она их, оказывается, все время вывозила, только я ее не видел. Я ее сюда привел. Пусть отдохнет, посидит, – тихо добавил Масленников.

– Пусть, конечно, конечно, – неожиданно вспомнив о том, что он здесь хозяин и что среди прочих обязанностей у него есть еще и обязанность гостеприимства, сказал Сабуров.

Масленников вышел в коридор и громко крикнул:

– Аня! Аня, где вы?

Девушка вошла и робко остановилась на пороге. Сабурову показалось, что она за эти восемь дней как будто еще похудела.

– Садитесь, садитесь, – засуетился Сабуров.

Он старался быть гостеприимным, но делал все особенно неловко. Вместо того чтобы просто подвинуть табуретку, он поднял ее и опустил на пол с таким треском, что девушка вздрогнула.

– Как вы живете? – ни к селу ни к городу спросил Сабуров.

– Ничего, – ответила девушка и, улыбнувшись, села. – А вы?

– Тоже ничего.

– Что ничего? Прекрасно, – бодро подхватил Масленников. – Прекрасно живем. Вот видите, как у нас... – Он гордо развел руками, как будто все окружающее действительно свидетельствовало об их прекрасной и комфортабельной жизни.

– Значит, это вы у нас вывозили раненых? – спросил Сабуров.

– Первый день не я, – сказала девушка, – а эти три дня я...

– Всего сто восемь человек вывезено?

– Да. С теми, что в первый день. А я девяносто.

– Никого на переправе не выкупали?

– Нет, – и она улынулась, очевидно при воспоминании о том, как выкупалась сама, – никого... Только вечером с самолета нас обстреляли на плоту. Четверых убили.

– Моих?

– Нет, не ваших.

– Вы тогда так исчезли...

– Да, я забыла вас поблагодарить.

– Я не к тому.

– Я знаю. Ну все равно спасибо.

– Вы когда обратно? – спросил Сабуров.

– Придется до вечера ждать. Я опоздала, сейчас уже светло.

– Да, когда светло, от нас в тыл не проберешься, это верно. Ничего, вы отдохните тут.

– Да, я сейчас пойду отдохну, там мои санитары уже легли, они две ночи не спали, – сказала девушка, приподнимаясь.

– Нет, куда вы, куда вы? Вы тут отдохните. Мы сейчас уйдем с лейтенантом, а вы лягте тут и отдохните.

– А я вам не помешаю?

По тому, как это было сказано, Сабуров почувствовал, что она безумно устала и что койка, на которую она могла лечь и укрыться, представлялась ей почти чудом.

– Нет, что вы, – успокоил он.

– Тогда хорошо, я отдохну, – просто сказала девушка.

– Только вы сначала покушайте.

– Хорошо, спасибо.

– Петя, – крикнул Сабуров, – принеси что-нибудь покушать!..

– Так вот же, – показал, появляясь, Петя, – стоит у вас, товарищ капитан, сковородка.

– Ах, верно... – Сабуров пододвинул сковородку девушке.

– А вы?

– Мы тоже.

Сабуров отвинтил пробку лежавшей на столе немецкой фляги и налил себе и Масленникову в снарядные головки или, как их называли между собой, «фугасники». Они последнее время все чаще заменяли стопки и стаканы.

– Выпьете? – спросил он.

– Когда устану, пью, – сказала она, – только половину...

Он налил ей, и она выпила вместе с ними, спокойно, не морщась, как послушный ребенок пьет лекарство.

– А вы песни не поете? – ни с того ни с сего спросил Масленников.

– Пела когда-то под гитару.

– А гитара, наверное, дома у кровати висит, с бантом? – не унимался Масленников.

– С бантом, – подтвердила девушка. – Только теперь ее нет... Я ведь здешняя, – добавила она.

Это слово «здесьняя» было понятно всем троим в одном, определенном смысле: раз здешняя, значит, все сгорело и ничего больше нет...

– Ну, не перестали еще бояться? Помните наш разговор?

– А я никогда не перестану, – сказала она. – Я ведь вам сказала, почему я боюсь, так отчего же я могу перестать? Я не перестану... Я думала, что уже вас не встречу, – помолчав, добавила она.

– А я, наоборот, – сказал Сабуров, – был уверен, что вас встречу когда-нибудь.

– Почему?

– Я замечал, как-то так выходит, что на войне редко встречаешься с людьми по одному разу. Вы где жили, далеко отсюда?

– Нет, недалеко. Если по этой улице идти направо, то третий квартал...

– Значит, теперь уже у немцев?

– Да.

– Аня, Аня... – вдруг припоминая, произнес Сабуров. – А вы знаете, Аня, я вас сейчас, может быть, совсем удивлю. А впрочем, не знаю, может быть, и нет.

Он еще не был уверен, удивит ли ее в самом деле, но ему почему-то показалось, что если случилось одно совпадение и именно эта девушка, которую он вытащил из воды, выводит теперь от него раненых, то почему бы не случиться и другому совпадению.

– Чем удивите?

– Ваша фамилия Клименко? – спросил Сабуров.

– Да.

– Наверное, удивлю и даже обрадую. Я видел вашу мать.

– Маму? Где?

– На том берегу, в Эльтоне, – сказал Сабуров. – И отец ваш где-то здесь в городе, да?

– Да, – ответила Аня.

– Я видел вашу мать в Эльтоне девять дней назад, как раз в то утро, когда мы вместе с вами Волгу переплывали. Только тогда я не знал вашего имени и потому не сказал.

– Что она, что с ней? – торопливо спросила Аня.

– Ничего, она пришла пешком в Эльтон, и я с ней разговаривал. Она сказала, что ее разлучила с вами бомбежка.

– Да, она была дома, а я нет. Как она?

– Хорошо, – солгал Сабуров. – Дошла до Эльтона.

– Где вы ее видели? Как узнать, где она?

– Не знаю. Я ее видел в Эльтоне, просто на улице. По-моему, она в тот день только что пришла туда.

– Ну какая она, какая? – расспрашивала Аня. – Очень замученная?

– Немножко...

– Главное, что живая.

– Вот и она мне о вас что-то вроде этого сказала: «Главное, чтобы живая», – улыбнулся Сабуров.

– Это в самом деле сейчас главное.

Девушка положила руки на стол и опустила на них голову. Ей хотелось еще и еще расспрашивать Сабурова о матери, но что еще мог добавить он, видевший мать каких-нибудь две минуты.

– Вы ложитесь, – предложил Сабуров. – Ложитесь на мой диван. Я сейчас уйду и до вечера не буду. Я вас разбужу, когда вам надо будет идти.

– Я сама проснусь, – уверенно сказала она, потом, подойдя к дивану, села на него и, по-детски раскачавшись на пружинах, с удивлением заметила: – Ой, мягко, я давно на таком не спала.

– У нас тут еще не то будет, – сказал Масленников. – Я еще два кожаных кресла пригладел среди развалин, немножко починить, и будет, как в салон-вагоне.

– А гитары среди ваших развалин нет?

– Нет.

– Жаль. Я бы вам сыграла.

– Ничего, вы же к нам не последний раз...

– Наверное, не последний...

– Так я еще найду гитару. Разрешите идти в первую роту? – сказал Масленников, старательно, более, чем обычно, вытягиваясь перед Сабуровым.

– Идите, – сказал Сабуров. – Я тоже скоро к вам приду.

Масленников вышел.

– Он кто у вас? – спросила девушка.

– Начальник штаба.

– Он у вас тоже хороший.

– Почему тоже?

– Также, как вы, – сказала она. – То есть не совсем, как вы, он, как я... то есть я не то – не хороший, как я... а я... – Она запуталась, смутилась, потом улыбнулась: – Я хочу сказать, что он, как я, тоже еще молодой совсем, а вы уже взрослый, – вот что я хотела сказать.

– Вы уже меня вовсе в старики записали, – покачал головой Сабуров.

– Нет, почему в старики? – серьезно сказала она. – Я просто вижу, что вы взрослый, а мы еще нет. Вы уже, наверное, много пережили в жизни, ведь верно?

– Не знаю, может быть... Пожалуй, да... – нерешительно согласился Сабуров.

– А я – нет. Мне даже и вспомнить почти нечего. Только иногда Сталинград вспоминаю, какой он был. Вы никогда раньше не бывали в нем?

– Нет.

– Он был очень красивый. Я знаю – наверное, Москва красивее, но мне почему-то всегда казалось, что он самый красивый. Может, оттого, что я тут родилась. Очень жалко, – вдруг с силой сказала она, – очень жалко... Так жалко, вы представить себе не можете. Мама не плакала, когда с вами говорила?

– Нет.

– Она знаете какая... Она, если что-нибудь, пустяк какой-нибудь – тарелку разобьет, – заплачет, а когда что-нибудь в самом деле страшное, она не плачет, молчит, даже ничего не говорит.

– А как ваш отец?

– Не знаю. Он на ту сторону не ушел. Он мне сказал: «Я не уйду из Сталинграда». Он и не ушел, я знаю. Они у меня оба хорошие. Когда я домой пришла и сказала, что ухожу в армию, а у нас только три дня как Миша – старший брат – погиб, я думала, что они спорить будут... А они ничего, сказали: «Иди». И все... Хорошо, все понимают, – добавила она с детской непосредственностью представления о родителях, как о людях, обычно не понимающих самых простых вещей. – Хорошо, что я вас увидела сегодня, а то я ваших раненых вывозила, они в разговоре все говорят: «Сабуров, Сабуров», а я не знала, что Сабуров – это вы, а мне вас хотелось увидеть, поблагодарить. Мы тогда с вами ехали на пароходе, я вам разные вещи говорила, у меня тогда такое настроение было все рассказать, и мне потом казалось, что, если я вас вдруг еще увижу, мне опять захочется вам рассказать.

– Что?

– Не знаю что... все вообще... Вот не попали бы вы сюда к нам, в Сталинград, мы бы с вами никогда не увиделись.

– Почему? Вы же хотели учиться?

– Да.

– Поехали бы в Москву?

– Да.

– Поступили бы учиться в университет, а я бы там как раз преподавателем был.

– Вы разве до войны преподавали?

– Нет, учился, но должен был преподавать.

– Вот бы не подумала. Мне казалось, что вы всю жизнь в армии...

Как всякому человеку, пришедшему из запаса, Сабурову были приятна эта ошибка.

– Почему вы так подумали? – спросил он с интересом.

– Так. Вы такой, как будто всегда в армии были, – такой у вас вид... – И она, прикрыв рот рукой, зевнула.

– Ложитесь, – сказал он, – спите.

Она потянулась и легла. Сабуров снял с гвоздя свою шинель и укрыл девушку.

– А вы в чем пойдете? – спросила она.

– Я днем без шинели хожу.

– Неправда.

– Нет, правда, я всегда правду говорю. Так и запомните на будущее знакомство.

– Хорошо, – согласилась она. – Сколько вам лет?

– Двадцать девять.

– Правда?

– Я же сказал вам.

– Ну да, конечно, – она с недоверием посмотрела на него, – конечно, правда, но только непохоже.

Она закрыла глаза, потом снова открыла их.

– Я, знаете, так устала, ужасно устала... Я так все ходила, ходила последние два дня, а сама думаю, вот бы лечь и заснуть...

– Вот и спите.

– Сейчас... У вас дети есть?

– Нет.

– И жены нет?

– Нет.

– Правда?

Сабуров рассмеялся:

– Мы же договорились.

– Нет, я вам верю, – сказала она. – Это я потому, что когда на фронте с нами, с девушками, болтают, то все как будто сговорились – уверяют, что у них жен нет, и смеются... Вот и вы смеетесь, видите...

– Я смеюсь, но это все-таки правда.

– А чего же вы смеетесь?

– Вы смешно спросили.

– Почему смешно? Мне интересно, вот я и спросила, – сказала она совсем сонным голосом и закрыла глаза.

Сабуров с минуту постоял, глядя на нее, потом подсел к столу, пошарил по карманам – кисет с табаком куда-то запропастился. Он полез в полевую сумку. Там между карт и блокнотов, к его удивлению, оказалась смятая папиросная коробка – та самая, из которой он вынул три папиросы: себе, Гордиенко и покойному Парфенову, когда они собирались атаковать ночью дом. Одна папироса была оставлена «на потом», на после атаки, и с тех пор он забыл о ней. Он посмотрел на коробку и без колебаний, как будто сейчас случилось что-то особенное, ради чего надо было выкурить эту последнюю папиросу, взял ее и закурил.

За окном светало. Начинался обычный страдный день – один из тех, к каким он уже привык, – но ко всем заботам в этом дне прибавилась еще одна, в которой он не хотел себе признаться, но которую уже чувствовал: это была забота о девушке, лежащей там, в углу, под его шинелью. У него было неясное ощущение, что девушка эта неожиданно прочно связана со всеми его будущими мыслями и с тем, что кругом осада и смерть, и с тем, что он сидит в осаде именно в этих домах в Сталинграде, в том самом городе, в котором она родилась и выросла. Он посмотрел на девушку, и ему показалось, что когда придет вечер и ей нужно будет переправляться на тот берег и уходить отсюда, то ее отсутствие будет до странности трудно себе представить.

Он докурил папиросу и встал.

– Что без шинели? – спросил Петя, когда они вышли.

– Тяжело в ней, да сегодня еще и тепло.

– Что ж, тяжело, так я понесу, пока тепло.

– Ладно, не надо, так пойдем...

VIII

День выпал тяжелый, все время пришлось торчать во второй роте на левом фланге, где мимо дома на площадь выходила широкая улица. С утра, как обычно, точно по расписанию, началась бомбежка, на этот раз более свирепая, чем всегда, и это навело Сабурова на мысль, что сегодня не обойдется без какой-нибудь особенно сильной атаки.

К полудню выяснилось, что он был прав. Три раза отбомбив дома, немцы начали сильный минометный обстрел и под прикрытием его пустили вдоль улицы танки. Перебегая от ворот к воротам, вдоль стен, за ними двинулись автоматчики, довольно много, – наверное, около двух рот. Одну атаку отбили, но через два часа началась вторая. На этот раз два танка прорвались и заскочили во двор дома. Прежде чем их сожгли, они раздавили противотанковую пушку со всем расчетом. Первый танк зажгли сразу, из него никто не выскочил, второй сначала подбили и только потом уже, когда он остановился, зажгли бутылками. Из него выскочили двое немцев, их тут же убили, хотя можно было взять их в плен. Сабуров на этот раз не удерживал своих людей: перед глазами было только что разбитое орудие и раздавленные в лепешку тела артиллеристов.

В четыре часа опять началась бомбежка; она продолжалась до пяти, а в шесть, после долгого минометного обстрела, немцы снова пошли в атаку, на этот раз уже без танков. Им удалось захватить трансформаторную будку и развалины стены.

Уже перед самой темнотой, в полумгле, Сабуров, собрав полтора десятка автоматчиков, решив, что так нельзя оставлять до утра, подполз к будке и после долгой возни и перестрелки снова занял ее. При этом было убито и ранено несколько человек; что до него, то он от усталости и грохота не заметил сначала, что ему у плеча прорвало рукав и обожгло руку пулей. Еще в середине дня его ударило о стену взрывной волной от близко разорвавшейся бомбы, и он наполовину оглох. Поэтому весь остальной день, злой и оглохший и страшно усталый, он делал все, что надо, почти автоматически. Когда будка наконец была занята, он, измученный, сел на землю, прислонился к обломку стены и, отвинтив крышку у фляги, сделал несколько глотков. Ему было холодно, и он впервые за день вспомнил, что вот уже вечер, а он без шинели. Словно угадав его мысли, Петя подал ему чужую шинель, наверное, снятую с убитого. Она оказалась мала. Сабуров сначала накинул ее на плечи, но Петя заставил надеть шинель в рукава.

В штаб Сабуров и Масленников вернулись совсем поздно, когда стемнело. На столе горела лампа. Сабуров мельком кинул взгляд на диван – девушка все еще спала. «Вот, должно быть, устала. А придется будить», – подумал он и вдруг сообразил, что за весь день, с той минуты, когда он подумал, что, наверное, будет сильная атака, и до самого возвращения так ни разу и не вспомнил о девушке.

Они с Масленниковым сели за стол, и Сабуров налил в самодельные стопки водки. Выпили и только тогда хватились, что нечем закусить... Пошарив по столу, Сабуров дотянулся до красивой четырехугольной банки с американскими консервами: на всех четырех сторонах ее были изображены разноцветные блюда, которые можно приготовить из этих консервов. Сбоку была припаяна аккуратная открывалка. Отломив ее и продев ушко в специальный шпенок на банке, Сабуров начал открывать крышку.

– Разрешите войти?

– Войдите.

В комнату вошел человек невысокого роста, с одной шпалой в петлицах. Он подошел к столу, прихрамывая и слегка опираясь на самодельную палочку.

– Старший политрук Ванин, – сказал он, небрежно козырнув. – Назначен к вам комиссаром.

– Очень рад. – Сабуров встал и пожал ему руку. – Садитесь.

Ванин поздоровался с Масленниковым и сел на скрипнувшую табуретку. Обнаружив привычки штатского человека, он сразу снял и положил на стол фуражку и отпустил на одну дырочку ремень; только после этого так, словно обмундирование и портупея причиняли ему неудобство, он уселся поудобнее.

Сабуров внимательно посмотрел на человека, которому теперь предстояло быть главным помощником во всех делах, и, подвинув к себе лампу, прочел сопроводительный документ. Это была напечатанная на тоненькой бумажке выписка из приказа по дивизии, согласно которому Ванин назначался комиссаром во второй батальон 693-го стрелкового полка.

На официальное ознакомление Ванина с положением дел в батальоне ушло вряд ли больше десяти минут. Все было понятно и без лишних слов; условия осады – снаряды и мины на счету, патроны в меньшей степени, но тоже на счету, горячая пища, по ночам разносимая в термосах, водка, которой оставалось больше нормы, потому что каждый день люди выбывали убитыми и ранеными, а старшины рот не торопились давать об этом сведения, обмундирование, которое за восемь дней ползания и лежания в окопах у многих изодралось в клочья, а у остальных истерлось и перепачкалось, – все это было хорошо известно каждому человеку, хоть несколько месяцев проведшему на фронте.

Сабуров, по своей привычке, откинулся на табуретке к стене и стал свертывать сигарку, давая этим понять, что официальная часть разговора окончена.

– Давно в городе? – спросил он Ванина.

– Только сегодня утром переправился с той стороны. Я ведь прямо из госпиталя. – Ванин в подтверждение своих слов пристукнул палочкой по полу.

– А в Сталинграде раньше бывали?

– Бывал, – усмехнулся Ванин. – Бывал, – повторил он со странным выражением лица и вздохнул. – Мало сказать, бывал. Я до войны здесь секретарем горкома комсомола был.

– Вот как...

– Да... Когда три месяца назад уходил отсюда на Южный фронт, Сталинград считался еще глубоким тылом, трудно было представить себе, что мы вот с вами будем сидеть в этом доме. Тут ведь перед домом был парк, теперь, наверное, мало что от него осталось...

– Мало, – подтвердил Сабуров. – Несколько деревьев да столбы от волейбольных сеток.

– Вот, вот, столбы от волейбольных площадок, – усмехнулся Ванин, – теннисную не успели сделать. Как раз перед войной я собирал молодежь на воскресники, ровняли землю, катками катали, а теперь, наверное, изрыто все...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.